

АЗБУКА ВЕРЫ

Лихачёв Виктор Васильевич

**Ангелы уходят не прощаясь —
Лихачёв В.В.**

Православная художественная литература 2017

Ангелы уходят не прощаясь — Лихачёв В.В.

Лихачёв Виктор Васильевич

Этот последний роман В. Лихачева не был окончен и мы так никогда и не узнаем, какую судьбу автор приготовил своим героям, – главное, что писателю удалось показать нам духовное пробуждение человека, казалось бы безнадежно погрязшего в суете и соблазнах этого мира. А конец этой истории мы можем додумать сами.

Роман

Я уйду в неясный день,
Там в долине плачет птица.
Может, это — коростель?
Может, это только снится?
Или ночью, в час глухой
Я уйду, забыв потери,
И оставлю за собой
Старый дом и скрипы двери.
Этот скрип — вздох обо мне —
Ничего уже не значит,
Засмеется дочь во сне,
Под подушкой крестик пряча.
Только должен я уйти
В час любой, в пургу и слякоть,
Будут грозы на пути,
Будет в ивах ветер плакать
Или это коростель
Все зовет меня в дорогу?
Я уйду в неясный день,
Чтоб найти себя и Бога.

Кстати, домов в деревне много? Ты что, глухой? Домов, говорю, много?

Писатель открыл глаза. Солнечный зайчик, веселый посланник ласкового сентябрьского утра, озорничая, пробежал по стене сверху вниз, однако хозяин однокомнатной квартиры в девятиэтажной «высотке», только хмуро хмыкнул, давая этим понять, что от нового дня он ничего хорошего не ждет. Более того, не считая себя прозорливцем, писатель мог с точностью до минуты сказать, как сложится его сегодняшнее бытие. Вот сейчас он будет лежать в постели где-то с полчаса, мучаясь угрызениями совести. Дело в том, что вчера им самим в очередной раз было дано честное-пречестное слово, что с завтрашнего дня, то бишь, с сегодняшнего дня он начнет новую жизнь. «Новая жизнь», как понятие включало в себя следующее: писатель должен встать в шесть утра, сделать зарядку, принять холодный душ, затем отказавшись наконец-то от кофе, выпить полезного зеленого чая, до обеда написать статью про Ирак и Буша, чтобы ему пусто было, затем наконец-то начать работать над новой книгой, забыв при этом про магазин напротив дома, где продается коньяк в стограммовых

бутылках, а также водка в емкости большей ровно в два с половиной раза. Вечером обязательно прогулка по лесу, затем чтение хороших книг, благо их список уже давно составлен. И, возвращаясь домой, обязательно набраться столько силы духа, чтобы не зайти в тот же магазин напротив, забыв о чудном крымском портвейне, который там продается... Что еще? Впрочем, это не важно, ибо сегодня зарядку он сделать, похоже, не сможет. Нет, это вовсе не слабость, а элементарное здравомыслие: вчерашний портвейн был крепок, а его сердце, увы, не железное. И сегодня оно должно отдохнуть. Разве вот что кофе... в последний раз, чтобы лучше про Буша написать...

Внезапно раздался звонок. Кому, интересно, нейдет в такую рань? — Простите, вас Иркутск беспокоит. — Кто? — Иркутск.

— Интересно, что я сделал плохого целому городу?

— Понимаем, что разбудили. А у нас уже скоро полдень. Алло, вы слышите?

— Слышу. А кто, собственно, говорит?

— Борис Николаевич.

— Только не говорите, что вы — Ельцин.

— Да нет, я Чернов. Помните, написал вам по поводу вашей книги?

— Теперь вспоминаю. Слушаю вас, Борис Николаевич.

— Я еще приглашал приехать к нам, на Байкал. Вы сказали, что таких денег не соберете, чтобы доехать.

— Точно. Будете смеяться, но сейчас я в соседнюю Тульскую область выбраться не могу, и все по той же причине.

— Еще как понимаю: сами так живем. Ну, так вот: мы вас ждем. Все уже решено, слава Богу.

— Не понял.

— Вы к нам летите. Сегодня в три часа дня. По-вашему в десять.

— Борис Николаевич, простите, но у меня на календаре не первое апреля, а четырнадцатое сентября.

— Слушайте внимательно: из Жуковского в три часа летит грузовой Ан-12. Летит к нам на авиазавод. В самолете три пассажирских места, одно забронировано для вас...

Сначала писатель решил сказать старосте одного из иркутских храмов все, что он думает о его затее, но так взволновано и радостно звучал голос Бориса Николаевича, сообщавшего как бы между прочим, что завтра у него, писателя, встреча с читателями в местной библиотеке, послезавтра поездка на Байкал, а на после-после завтра запланировано знакомство с Бурят-Монголией... Он слушал и думал: «Если я сейчас соглашаюсь, то выпить кофе уже точно не успеваю. Наконец-то хоть раз, но сдержу слово». И ответил коротко: «Ждите, вылетаю».

* * *

Это были удивительные десять часов полета. Писатель словно возвращался в детство. Только тогда он мог часами смотреть, как за окном вагона мелькают деревья, озера, поля, города.

Вот и сейчас, во время полета, ему не лень было все десять часов, не отрываясь, глазеть в иллюминатор, где под крылом самолета лежала Россия. Все было по-настоящему и одновременно уменьшено, как по мановению палочки волшебницы-феи. Полноводные реки превращались в тоненькие серебряные нити, огромные города занимали места не более гнезда какой-нибудь пичуги, а маленькие просто казались божьими коровками, ползущими по зелени листа. Все последние месяцы он жил с таким чувством, будто у него, прежде крылатого, кто-то взял и украл крылья. А ведь, кажется, еще Блок говорил когда-то: «Главное — не терять крыльев». И, кто знает, может быть оттого и было так муторно у него на душе, оттого рвалась душа не в небо, а к рюмке, что без крыльев до неба не долетишь? И пусть сейчас он и не вернул их, но зато смог вспомнить, благодаря этому допотопному старенькому Ан-12, что значит — летать...

А потом были счастливые несколько дней. Теплые встречи, незабываемые впечатления. Дни летели, как часы, часы мчались, как минуты. Возвращаться домой не хотелось, но, как говорили древние: «*Dukum est telum necessitas*», — «жестокая стрела — необходимость»: все хорошее когда-нибудь заканчивается. Семья Черновых устроила писателю роскошные проводы, он со всеми простился, собрался в дорогу — и не полетел: как оказалось, добрый знакомый Ан-12 летел обратно в Москву только тогда, когда в наличии имелся груз. В тот день его не оказалось, как, впрочем, не оказалось и на следующий день. Писатель не на шутку разволновался: так можно было остаться и без работы. Глядя на его дергание, Борис Николаевич спросил:

— Вы действительно хотите улететь? Смотрите, а то вы нам понравились. Оставайтесь.

— Нет уж, теперь вы к нам.

— Хорошо. Тогда поехали.

— Куда?

— К нашему святителю. Иннокентию Иркутскому.

Что ж, подумал писатель, к Иннокентию, так к Иннокентию. Он был согласен на все, лишь бы остаться примерным человеком и вовремя прилететь домой. И, следуя примеру древних римлян «*Nihil contemnit esuriens*» — «Голодный ничем не пренебрегает», отправился вместе с Борисом Николаевичем в главный храм Иркутска.

В храме было малоллюдно. Чернов делал все обстоятельно и спокойно: купил два акафиста святителю, свечи. Они встали у раки с мощами святителю и начали молиться. Точнее, молитвы вслух читал Борис Николаевич, а писатель вслушивался в смысл слов, время от времени осеняя себя крестным знамением. Когда они закончили, Чернов сказал:

— Все, завтра вы летите.

Сказал так буднично и просто, что писатель даже немного возмутился внутри: «Откуда такая самоуверенность?» Но, как ни странно, Борис Николаевич оказался прав: утром им позвонили и незнакомый женский голос сообщил: «Самолет вас ждет». Если Чернов воспринял известие, как должное, то писатель хмыкнул про себя: «Случайность».

Вот и долгожданный Ан-12. Самолет стоял на взлетной полосе, и пока его заправляли, какой-то человек в форме летчика, стоя чуть поодаль, растерянно чесал затылок.

— Что-то случилось, командир? — догадываясь, с кем он имеет дело, спросил писатель.

— А то нет? Двадцать лет летаю, а такого еще не было.

— Не понял...

— Так и я не пойму, с какой кстати в Москву лечу с ящиком гвоздей...

Писатель торжественно улыбнулся:

— Ну, положим, вы не только ящик гвоздей везете, а еще более ценный груз...

Уже заранее предвкушая десять часов счастья, он занял место у иллюминатора. Его попутчиком оказался словоохотливый мужчина, назвавшийся Владимиром. Владимир был дядей недавно погибшего в авиакатастрофе известного тележурналиста, но о племяннике говорил мало. В основном о многокилометровых крестных ходах по России, в которых участвовал. Писатель слушал с интересом, не переставая смотреть вниз. Туда, где не встречу с могучим Енисеем, несли свои воды красавицы Ангара и Бирюса. Мерно гудели моторы, что-то рассказывал Владимир. Поднялся радист и подошел к какому-то щитку с приборами. Долго смотрел на них, затем с досадой стукнул кулаком по панели: «Опять радар не работает!» Писатель, оторвавшись от эпического пейзажа, посмотрел внимательнее на летчика. Нос у него был подозрительно красный. Писатель вспомнил, как его друг, офицер Саша Фролов однажды рассказывал полусуто, полусерьезно, что в грузовой военной авиации работают люди, которые с Бахусом на ты. Писатель еще раз посмотрел в иллюминатор, но увидел уже не эпически красивый пейзаж, а только крохотную, с муравья, тень от самолета. Их самолета, в котором находился еще более крохотный он. И почему-то мгновенно представилось, как у старика Ана, отказывает сначала один мотор, потом другой. И вот он, замерев на секунду, камнем падает вниз. Жуткий до мерзости страх вполз в сердце писателя. Ему казалось, что вот-вот и наступит та самая тишина, когда останавливаются моторы. В памяти, из самых ее глубин, всплыли строки песни, слышанные в далеком детстве: «Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы кричать, не вышел полет...»

Кстати, а почему им не выдали парашютов? Писатель обернулся к Владимиру, который мирно спал, выронив на пол книгу. Счастливый! Страх стал просто невыносимым. И впервые за многие месяцы, а может быть, даже годы, из самого нутра писателя вырвалось: «Господи, помилуй!» Никогда еще он не молился так горячо. Молился шепотом, боясь разбудить спящего, боясь выглядеть смешным в глазах экипажа, но молился, по-прежнему с замиранием сердца ожидая тишины, которая сейчас наступит. «Господи помилуй!», «Господи помилуй!» — так прошли полчаса, час. Страх не исчезал, писатель понимал, что если так будет продолжаться и впредь, то до Жуковского долетит, если долетит, конечно, просто сумасшедший человек. А до Жуковского было еще восемь часов лета.

Продолжая молиться, он поднял книгу, прочитал заглавие: «Красная пасха». Или «Пасха красная»? Писатель с трудом вникал в происходящее. Оптиная пустынь. Какие-то монахи... Но постепенно разум стал вникать в суть написанного. Стало интересно. Он уже и ранее слышал о том, что на Пасху 1993 года в Оптиной пустыни убили двух послушников и иеромонаха. Убийцей оказался сатанист. Сам писатель был в Оптиной за два года до этого и, кто знает, может он видел убиенных мучеников или даже говорил с ними. Страница, другая, третья, и — о чудо! — страх стал таять. Так тает кусочек льда на теплой ладони, превращаясь в маленькую лужицу. Так исчезает, испаряясь, обычно в небе — последний след вчерашнего ненастья. Книга заканчивалась, осталось посмотреть фотографии. Самолет, качнув крылом, пошел на посадку... На писателя смотрело аскетически худое и строгое лицо иеромонаха Василия, одного из убиенных мучеников. Смущенные руки спрятаны за мантией на груди. А глаза... Где-то он видел эти глаза... Было в них что-то не здешнее, не земное, словно отец Василий прозревал какие-то иные миры. Писатель вздрогнул. Он вспомнил — и это лицо, и тот летний день, когда калужские друзья-журналисты впервые привезли его в Оптину. Пустынь тогда еще стояла вся в лесах. После многолетнего забвения восстанавливались храмы, кельи. Тогда писатель только начинал свои пешие походы по Руси. В тот год он решил пройти пешком от

Оптиной до Мещеры. Кто-то из монастырского руководства благословил его осмотреть и пустынь, и скит с кельей преподобного Амвросия. А в сопровождающие ему дали высокого стройного монаха, оказавшегося и прекрасным гидом. Напоследок писатель не удержался и похвастался, мол, иду пешком по России, шестьсот верст — не шутка. Монах тогда впервые улыбнулся. Он перекрестил писателя и сказал: «Ангела хранителя вам в дорогу!» С тех пор было пройдено не шестьсот, а несколько тысяч километров, но вот что странно: никаких серьезных неприятностей в дороге с писателем не происходило, будто и действительно его сопровождал Ангел-хранитель, оберегая от лихих людей, злого зверя, болезней и ненастий... А он тогда даже не спросил имени монаха. Значит, через два года именно его, иеромонаха Василия, — а это был он, тот человек, от которого впервые в жизни писатель услышит: «Ангела-хранителя вам в дорогу!», — настигнет безжалостное лезвие ножа... И, получается, что все эти годы, за него, грешного просил перед Богом не просто монах, а мученик... Вот и сегодня он спас его. И то, что это было именно спасение — сомнений у писателя не было.

С трапа самолета на подмосковную землю спустился уже совсем другой человек, по крайней мере, писателю в это очень хотелось верить. Он уже с досадой вспоминал о длинной череде пустых дней, потраченных на сочинение бестолковых статей, на вино, созерцание потолка и декларирование грустных хокку:

В поле тихо.

Бабочка летает.

Бабочка уснула.

Все песни спел сверчок,

Одна скорлупа

Шелестит на ветру.

Сверчком был он — опустошенный, пресыщенный, усталый, одинокий. «Нет, я еще докажу, что не шелестящая на ветру скорлупа и уснувшая бабочка — это не про меня» — думал писатель, приближаясь к родной многоэтажке. Что ж, главное, как он будет доказывать, на данный момент было вопросом второстепенным. А вот и знакомый магазин. Ноги, словно сами по себе, замедлили шаг. Такой перелет... Он устал... Надо бы отметить... Правда, неплохо бы свечку поставить Николаю Угоднику. Пожалуй, завтра.

— Давно вы у нас не были, — приветливо улыбнулась продавец. — Вам как обычно?

— Мне? Не знаю... Нет... А пожалуй... Да!

...Только на следующее утро писатель удосужился включить автоответчик. Женщина, словно смущаясь разговаривать не с живым человеком, а с записанным на пленку голосом, пролепетала: «Читатели Энска помнят встречу с вами и были бы рады встретиться еще раз, в любое удобное для вас время».

Писатель, вспомнив с какими мучениями он добирался до Энска, как реализовал всего пять книг, даже не окупив дорогу туда и обратно, прослушав сообщение, произнес: «Ждать вы будете долго, ребята». Затем он выпил какую-то горькую бурду, именовавшуюся зеленым чаем и отправился на работу. Спускаясь по лестнице, увидел, что в почтовом ящике лежало письмо. Странно, но письмо, судя по обратному адресу, было из... Энска, от настоятельницы местного монастыря матушки Евфалии. Настоятельница Свято-Троицкой обители в представлении писателя была героическим человеком. Всего с двумя послушницами она поднимала из руин некогда знаменитый монастырь, связанный с родом Милославских, находивших здесь вечное упокоение. Когда писатель два года назад ходил с матушкой подле разрушенных надгробий, смотрел на печальные остовы монастырских врат, видел, как из единственного полуразвалившегося храма выносили тонны мусора, он недоверчиво качал головой, слушая монахиню, не сомневающуюся в том, что обитель вскоре встанет из руин.

— Ой ли? Вы мечтатель, почище Ленина.

— Нашли с кем сравнить! Я не мечтатель. Господь нам помогает, потому и верю, что сдюжим.

И вот матушка пишет, что храм восстановлен, в нем идут службы. Восстановлены и ворота. В одной, правой от въезда башенке они сделали маленькую, но очень уютную келью. Было бы славно, если бы вы к нам приехали, пожили, сколько Бог даст. Вы же говорили, что в городе жизнь суетная и порой трудно урвать минутку, чтобы поработать над новой книгой. Вот у нас и поработаете.

Писатель вспомнил, какой чудесный вид открывается из монастыря на Энска, стоящий на высоком берегу Волчицы, прихотливо несущей свои чистые воды среди полей и дубрав серединной России. Вспомнил, как славно поют цикады длинными летними вечерами, как чудесно пахнет маттиола в крошечном монастырском садике, вспомнил — и вздохнул. Он действительно за последние полгода не написал ни строчки новой книги, а там... Нет, нет, все это слишком нереально. Надо будет написать и поблагодарить и матушку, и директора библиотеки. Хорошие они люди, но... И он отложил письмо в сторону.

Разумеется, ни завтра, ни на следующей неделе он им не ответил, как и не сходил в церковь, чтобы поставить свечку Николаю Угоднику.

* * *

Много лет назад кто-то из остряков впервые сравнил человеческую жизнь с зеброй. Белая полоса, черная, затем опять белая. Но спроси кто нашего писателя о его жизни, он бы ответил, что она у него ни белая, ни черная, а какая-то серая. Вроде ничего плохого нет, но и хорошего тоже. Так, середина, только не золотая, а какая-то тусклая и блеклая, как серое осеннее небо. Иркутская поездка, Байкал, казались теперь далеким чудесным сном, страх, охвативший его в самолете — минутной, а потому вполне простительной слабостью. Только сушеный омуль, лежащий в холодильнике, напоминал ему о том, что это был вовсе не сон.

А затем все начало стремительно меняться. Все началось в день города. Писатель славно посидел в парке с друзьями. Ближе к полночи он решили встретиться еще раз: согласно новой моде, дни города заканчивались роскошным фейерверком, посмотреть на который собиралось все местное население от мала до велика. А пока оставалось время до фейерверка, прогуливался в толпе гуляющих, останавливаясь то у одного, то у другого аттракциона. Неожиданно его глаза встретились с глазами очень скромно одетого молодого человека.

— Здравствуйте! — сказал юноша и назвал писателя по имени-отчеству.

— Добрый день!

— С праздником вас.

— И вас также.

— Вы, наверное, не поняли меня, — смутился юноша, — я не о дне города.

— Вот как? А о чем же?

— Сегодня Воздвижение Креста Господня.

— А-а, — протянул писатель. Ему стало досадно и неловко. Такой большой праздник, надо бы сходить в храм. И свечку... надо бы...

— Спасибо. И вас поздравляю с, — но он уже говорил в пустоту. Незнакомец исчез также неожиданно, как и появился.

«Ну и ладно», — думал писатель, — «в следующий раз не пропущу. Какой у нас следующий большой праздник? Покров? Вот на него и схожу в церковь».

Успокоившись, он пошел дальше вдоль торговых рядов и аттракционов. Его внимание привлекла кричащая, кого-то подбадривающая толпа. Он пошел на шум и увидел, как в доброй старой забаве сошлись с десятков мужчин и парней, перетягивавшие канат. Силы команд были равны, а потому середина каната, помеченная красным бантом, оставалась неподвижной. Какой-то паренек подбежал к одной из команд и стал тоже тянуть канат. Азарт передался и писателю, добавим сюда врожденное чувство справедливости, которое заставило его присоединиться к противоположной команде. Он схватился за свободный кусок каната, уперся что есть силы ногой в землю и крикнул: «Поднажмем, ребяташки!»

Что произошло дальше, писатель так и не понял. В районе колена что-то щелкнуло. Так валится под косою старый высохший камыш. Взмах, хруст, и вот узе камыш, еще вчера гордо качавший своей головкой, лежит на земле. Писатель рухнул на землю. Вокруг засмеялись. Кто-то крикнул: «Слабоват, дядя!» Мотнув с досады головой, писатель поднялся. Под чашечкой ныло, но он стоял нормально. «Наверное, оступился», — подумал он, но еще раз ухватиться за канат не успел, — его команда проиграла.

Покинув ристалище, писатель решил немного посидеть. Увидев на возвышении скамью, направился к ней. Наступил на правую ногу — и опять: щелк! — и он, как подкошенный, вновь валится на землю. Какие тут фейерверки: боль была жуткая. Он поймал свободное такси. «В больницу, пожалуйста!» Привычно занес ногу, чтобы сесть в машину — и вновь с криком упал вниз, умудряясь со всего маха удариться виском о дверь автомобиля. От боли, беспомощности, обиды у него навернулись слезы.

Врач, осмотревший его, был лаконичен:

— Связки порваны, батенька.

— Что же делать?

— Беречь ногу. Я бы посоветовал ходить с палочкой. Тяжести не носить. Стараться не делать упор на больную ногу.

— А как долго это будет продолжаться?

— Увы, обнадежить не могу. Полгода, год, а у кого и до конца жизни. — У врача было явно хорошее настроение.

В последующие два дня писатель успел упасть раз десять. В лифте, на работе, в магазине, на автобусной остановке, дома в ванной. И, всякий раз, кряхтя и пытаясь с четырех конечностей встать на две, он подбадривал себя: «Ничего, ничего, значит, Господь не оставляет». Но если писатель искренне верил в то, что говорил, то мог быть просто счастлив: еще через день, переходя железную дорогу и, пытаясь побереечь больную правую ногу, он встал на рельс левой. Неожиданно ступня «поехала» и... Все тот же врач встретил его как родного:

— Что-то вы зачастили к нам, батенька!

— Мне не до шуток, доктор. Посмотрите — нога.

— Эх ее раздуло. Здесь больно? А здесь? Пошевелите. Рентген для подстраховки сделаете, но думаю, перелома нет. Растяжение. Сегодня вечером — обязательно держите ногу в холоде. Хорошо бы палочку. Опирайтесь на другую ногу...

— Вы издеваетесь?

— Простите, забыл. Какая-то черная полоса у вас, батенька.

— Я заметил, — поднимаясь, сухо ответил писатель.

Теперь у него появился весомый повод не идти в храм. Зато когда ему позвонили из одной московской оптовой базы и сказали, что ждут книг, он быстро встал на ноги, нашел машину и, даже не отпросясь с работы рванул в Москву. Писатель никогда не пристегивался ремнем безопасности, но перед постом ГАИ или как оно теперь называется, он последовал совету водителя, и пристегнулся. А потом... наверное, просто забыл отстегнуться... Виной ли тому мокрая осенняя дорога, неопытность водителя, но машина, как необъезженный жеребец, рванула в сторону. Навстречу — это писатель четко видел, будто наблюдая происходящее в кино, мчалась машина. Господи! До встречи лоб в лоб оставалось с полсотни метров. Но водитель «джипа», старикашка в куртке цвета «хаки» повернулся к своему соседу, и о чем-то с ним спокойно говорил. «Ну, посмотри, посмотри на дорогу, гад!» — мысленно про себя проорал писатель. Бесполезно. Джип на скорости сто двадцать километров в час таранит «шестерку», чей багажник доверху набит книгами. Дальнейшее писатель помнил смутно. Удар. Он летит куда-то. Жуткая боль в спине...

Что он говорил раньше? Фантосмогория? Нет, то были семечки. А вот это была фантосмогория. Они с шофером кое-как выползли из машины. Водитель, целый и невредимый, стал биться в истерике: оказалось, на машину он копил всю жизнь и купил ее месяц назад. Мимо, не останавливаясь, мчались автомобили. Боль не уходила. Только сейчас писатель понял, как хорошо, что он случайно забыл отстегнуться. Иначе, шансов у нег не было.

В конце концов, они нашли попутку — доехали до больницы. Больше всего писатель боялся, что его примет тот самый доктор. К счастью, это был молодой парень, говоривший уверенно и веско:

— Где ваши снимки? Так... Перелом, батенька.

— Как вы сказали? — психанул писатель, вынужденный час простоять у дверей рентгеновского кабинета.

— Перелом...

— Нет, после.

— Батенька.

— Я вам не батенька! Сыночки, блин!

— Извините.

— Принимается. Вы хотите сказать, что у меня...

— Да, перелом шестого позвонка. Разумеется, перелом компрессионный. Полгодика полежите — и все будет в порядке.

— Сколько?! — писатель, понимающий, что за эти полгода он не получит ни копейки, запаниковал.

— Полгода. И это при условии, что вы будете примерным пациентом. А ложиться надо немедленно.

— Простите, не понял. Два часа я, как идиот, со сломанной спиной, таскаюсь по больнице, из

кабинета в кабинет, а теперь — «немедленно ложитесь»?

— Это не ко мне. Во всей стране бардак, что вы от нас хотите? Не верите — посмотрите вот сюда. Это шестой позвонок...

Странно, но вечером, когда писатель лежал в больничной палате, к нему, впервые за много месяцев, пришла молитва. «Господи, — молился он, — я никчемная неблагодарная тварь. У меня даже не хватило совести поставить свечу к Твоей иконе. Ты можешь плюнуть на меня и приказать моему Ангелу-хранителю покинуть меня, грешного. Но я, окаянный, прошу Тебя, не оставь меня! Да, я плохой, неблагодарный, но... Дай мне еще хотя бы год и я... я обещаю... нет, не так... я клянусь, — опять не так!»

И вдруг из самых глубин писательского сердца вырвались слова, которых он не мог ожидать: «Господи, спасибо тебе за все!»

Внутри вмиг что-то оборвалось. Наступила тишина, вместе с которой пришло удивительное спокойствие. Неужели еще минуту назад волновало, на что он будет жить эти полгода? Беспокоило, что станет с сотней книг, лежащих в багажнике автомобиля? Господи, спасибо Тебе за все! Только сейчас писатель понял, увидел себя бегущим, как белка, только не в колесе, не имеющим ни начала, ни конца, а по узкой дорожке, ведущей к тупику. К высокой кирпичной стене. Еще секунда, — и он врежется со всего маха в эту стену... Но чья-то рука, сильная и одновременно добрая, останавливает его в нескольких сантиметрах от стены. Ему больно — и хорошо. Веки стали тяжелыми. Писатель уснул. Последнее, что он помнил — его собственные слова: «Господи, спасибо Тебе за все!»

Проснулся он от легкого прикосновения к плечу: «Больной, проснитесь! Идет обход». Какой обход? Почему он идет? Вообще, где я? Вообще, кто я? Писатель проснулся и спросил: «Какой сейчас час?» Ответа он не услышал, зато мозг профессионально подсказал: «Сейчас... час... Неправильно сформулировал»,

Но уже через секунду писатель забыл про это. В палату входили люди в белых халатах, среди которых он узнал того врача. Нет, Боже, только не это!

— Только ничего не говорите. Пожалуйста!

— Как, совсем ничего? Поинтересоваться, как зав отделением, что с вами, я могу?

На эти слова быстрее всех прореагировал вчерашний врач:

— Больной поступил вчера. Компрессионный перелом позвоночника...

— Снимки есть? — перебил его заведующий отделением.

— Конечно. Вот, смотрите. Шестой позвонок.

— Скалеоз, видимо еще детский, вижу. А где перелом?

— Странно, но вчера был...

— Вадим Евгеньевич, вы себя нормально чувствуете? Вчера на снимке был, а сегодня...

— ...исчез. Нет, Валерий Иванович, правда — был!

— Хорошо, мы разберемся потом, — ответил заведующий и обратился к писателю:

— Батенька, я бы на вашем месте.

— Уже.

— Вот и славненько. А вы в рубашке родились. Если бы не ремень...

— Доктор, вы в это сами-то верите?

— Не понял...

— В ремень. Я его первый раз за всю жизнь забыл расстегнуть.

— Забавненько. Простите, интересно получается: может, действительно есть то, что неподвластно нашим мудрецам?

— Есть, доктор. И не ругайте вашего помощника.

Тот мигом откликнулся:

— Нет, правда, Валерий Иванович, я вчера...

— Я же сказал, после! — и, вновь обращаясь к писателю:

— Говорят, Бог любит троицу. Желаю нам обоим увидеться в другой обстановке. Например, на вашем творческом вечере.

— Вот как? — искренне удивился писатель, — а почему вы ни разу не подошли подписать книгу?

— Не поверите, но постеснялся. Да и очередь к вам большая была.

— К вам тоже — немаленькая. Всегда.

И впервые за много месяцев писатель рассмеялся. От души.

— Да, кстати, а какое сегодня число?

— Будете смеяться...

— Уже смеюсь...

— Тринадцатое, пятница.

— Выходит, сегодня Покров?

— Выходит, так

— Служба еще идет... Доктор, выпишите меня скорее...

* * *

Первым делом, вернувшись из храма домой, писатель набрал номер библиотеки Энска.

— Надежда Михайловна? Да, это я. Тоже, тоже рад вас слышать. Скажите, а мой приезд к вам еще актуален? Когда? Да в следующие выходные и приеду. Спасибо, обязательно захвачу. Скажите, а вы матушку Евфалию из Свято-Троицкого монастыря встречаете? Каждый день? Вот как славно! Передайте ей, пожалуйста, что я получил ее письмо. И... и... одним словом —

еду.

* * *

Вообще-то писатель был очень пассивным человеком, если считал, что ему достаточно поставить свечку в церкви, чтобы все в его жизни образумилось. Видимо, он зашел уже так далеко в другую сторону, что трех свечей по десять рублей каждая, было недостаточно, а потому черная полоса в его жизни продолжалась. Готовясь к отъезду, он снял со сберкнижки деньги, лежавшие на его счету. После писатель и сам не понимал, что заставило его разделить всю сумму на две части: одну положить в паспорт, спрятав его в кармане пиджака, другую оставить в сумке. Он шел домой, когда обгоняя его, буквально пробежал молодой человек, обронивший что-то на ходу. Писатель поднял это «что-то». Не сразу, но постепенно до него дошло, что он держит в руках приличную пачку денег. Прошла секунда, затем другая, и он стал искать пробежавшего, которого и след простыл: «Эй, молодой человек! Вы потеряли...» Неожиданно перед ним возник юноша, который зашептал: «Что кричишь, приятель? Давай поделим деньги этого лоха». Писатель собирался сказать: «Зачем мне эти деньги», но не успел: перед ним, как в сказке, вырос, словно из — под земли, тот самый растеряха. Правда, не один, а с тройкой накаченных мужичков: «Вы мои деньги не находили? — «Да вот они». — «Простите, но у меня были доллары». — «Откуда я знаю, что у вас было?» — «А вы можете показать содержимое вашей сумки?» — Да пожалуйста», — писатель еле сдерживал гнев.

— Смотрите! — и он отдал сумку.

Растеряха достал его пачку денег, словно внимательно изучая, затем вернул деньги расшвирипевшему писателю:

— Простите.

Они расстались, но не успел наш друг пройти и стони шагов, как услышал чьи-то всхлипы. Плакал паренек лет двадцати. Он стоял на обочине, по-детски вытирая слезы, льющиеся буквально рекой.

— Что-то случилось? — остановился писатель.

— Обво... обво... ровали!

— Кто?

— Не знаю! Я деньги поднял... они... они...по...подошли...

— Ну и? — в сердце писателя стало тревожно. В романах это называется предчувствием. Оно его не обмануло. Правда, лучше не обмануло бы несколько раньше.

— Мои деньги вернули... я посмотрел, а там... бумажки. Я в Москве три месяца вкалывал! — и слезы с новой силой полились из глаз незнакомца.

Писатель полез в сумку и достал пачку денег, которую отдавал тому парню. Вверху лежала сотенная бумажка, внизу тоже, а посередине — аккуратно порезанная белая бумага. Неожиданно для себя он рассмеялся.

— Вам смешно? — обиделся паренек.

— Не обращай внимания. Сам такой. Сколько у тебя украли?

— Семь ты... тысяч.

— Надо же, у меня осталось десять. Бери семь, а это мне на дорогу.

— Вы... вы мне даете деньги?

— Нет, я отдаю долги.

— Не... не по... понял.

— Объясню потом. Бери деньги — и не будь ротозеем. Пока.

А вечером... Вечером какая-то сила подняла с кровати писателя. И он впервые за много месяцев ощутил тот прекрасный зуд, о котором уже забыл. Захотелось увидеть чистый лист бумаги, захотелось что-то написать на нем — не потому, что надо, что кто-то ждет этих строк, а потому, что если он не выжмет эти строки из себя, то... Одним словом, в ту ночь писатель не уснул. Точнее, уснул где-то под утро. А на столе лежали исписанные листы. Это был рассказ, который назывался...

Пашка.

— Следующая станция — Тверь. Конечная. — Раздался голос из динамика. Задремавший Пашка вздрогнул, потом сладко потянулся. Все. До автостанции всего две минуты ходьбы. Затем три часа до райцентра. Там он поймает попутку и к обеду окажется в родной деревне Еськино. Те долгие полгода, что он жил в Москве, картина возвращения в отчий дом, рисовавшаяся ему душными летними вечерами, была для него единственной отрадой. Пашка знал, что товарищи по строительной бригаде за глаза посмеиваются над ним. После смены он спешил в прокуренный вагончик, опасаясь соблазнов большого города. К тому же ему, деревенскому тихоне, не нравились местные девчата: слишком уж они бойкие. В еде и питье Пашка тоже довольствовался самым насущным. Бригадир Петр Иванович изредка подтрунивал над ним:

-Ты, Павел, хоть и кацап, а почище нас, хохлов, будешь. Сходил бы погулять, пивка попил. А то лежишь целыми вечерами, будто тебе не двадцать лет, а все восемьдесят.

Пашка улыбался, краснел, но ничего не говорил в ответ. Пусть смеются, ему-то что. Он лежал на панцирной койке и представлял, как идет по знакомой до боли деревенской улице, как здоровается с соседями

— Привет, Марья Даниловна! Как здоровье?

— Иван Матвеич! Мое почтение!

А вот и родной дом. Мама и сестренка бегут навстречу. Сестренка у него замечательная. Невеста! Не в пример этим городским вертихвосткам. Не то, что вина, пива сроду не пила. А работающая какая!

Они зайдут в дом, сядут на кухне под образами. Он достанет московские гостинцы, а потом достанет книжку «Северная повесть» писателя Паустовского — ее он взял из дома не только для того, чтобы читать. Так вот, он раскроет книгу на сотой странице, и мама с сестренкой ахнут: «Денег — то сколько!» А мама даже слезу утрет: «Кормилец ты наш». Пашка по хозяйски еще раз пересчитает каждую купюру и скажет важно:

— Ну, мать, отдаю тебе деньги, решай сама, что нам более всего надобно. Но, главное, про Танюху не забудь: свадьба у нее должна быть на высшем уровне. Мать всплеснет руками:

— Да как же я про твою сестру забуду? Не волнуйся, родненький, справим мы ей свадьбу. С такими деньгами и не справить. Но ведь и тебе не мешает костюм новый купить. Почитай, как с армии пришел, только кроссовки тебе купили.

— Ничего, — ответит он, — я себе еще заработаю...

— Такси, пожалуйста, такси, — голос мужчины в кожаной куртке вернул Пашку к реальности. Он отрицательно качнул головой и быстро пошел по знакомой аллее в направлении автовокзала. Моросил нудный осенний дождичек, утренние сумерки делали всех людей какими-то одинаковыми. Пашка отметил про себя, что все, кто встречался ему на пути, были одеты в кожаные куртки, что делало их еще более похожими друг на друга. Один человек шел рядом с ним, другой обгонял их. Он бежал во весь опор, видимо, опаздывал на автобус. Вдруг из его кармана что-то выпало. Парень, идущий рядом с Пашкой быстро поднял небольшой пакет: в нем, туго скрученные резинкой лежали доллары. Многие ребята из строительной бригады меняли рубли на баксы, поэтому Пашка знал, как выглядит доллар. На каждой из этих купюр четко выделялись три цифры — 100.

— Эй, гражданин, стойте! — Закричал Пашка. — Вы деньги потеряли.

Но человек не услышал его, убегая все дальше и дальше.

— Молчи, дуралей! — Подал вдруг голос парень, поднявший деньги. Тут же денег куча. Что упало, то пропало.

— Но ведь чужие же, возразил Пашка и опять крикнул, уже громче:

— Товарищ, остановитесь! У вас день...

— Слушай, взмолился парень. — Я с тобой по-братски поделюсь. Не будь ты идиотом...

Пашка в жизни не брал чужого. Он непонимающим взглядом смотрел, как парень прячет пакет с долларами в карман. Нехорошо все это, ох, нехорошо. А парень говорил все горячее и горячее:

— Мы сейчас за угол встанем и все поделим. Я студент, на ступуху сейчас разве проживешь? Да и тебе лишние деньги не помешают...

— Ребята, вы здесь ничего не находили? — Как из-под земли перед ними вырос мужчина, обронивший пакет. Был он рыж, одет в кожаную куртку. Маленькие серые глаза смотрели пристально и тревожно. Пашка хотел сказать: «Конечно, находили, я же кричал вам», но парень шепнул ему на ухо: «Пожалуйста, не выдавай меня, ради Бога!»

— Что вы шепчитесь? — В голосе мужчины послышался металл. — Вы деньги нашли?

— Нет, в один голос произнесли Пашка и его сообщник. Только Пашка сказал это неуверенно и тихо, а парень громко и где-то даже с вызовом.

— Показывайте сумки! — Произнес мужчина. — Я свои кровные сразу узнаю.

Пашка хотел возмутиться, но решил, что лучше всего будет показать свои деньги. Ведь все они были в рублях, а не в валюте. Он покажет и уйдет, а уж как они потом с этим парнем разберутся — их дело.

Пашка достал «Северную повесть».

— Вот, смотри, это мои деньги. Твои я бы так быстро не спрятал.

— Кто тебя знает, может ты шустрый. — С этими словами мужчина взял книгу из рук Пашки и стал задумчиво перебирать купюры.

— Убедился? — Пашка стал заводиться. — Теперь отдавай. В этот момент парень, стоявший за Пашкиной спиной вдруг сказал:

— Отстань от человека, мужик, вот твои бабки, — и протянул пакет незнакомцу.

Пашка с уважением посмотрел на своего сообщника. Молодец, все-таки решил отдать деньги. Мужчина с видимым облегчением протянул книгу Пашке, но произнес укоризненно:

— А говорите, не брали. — Сунул свиток в карман и быстро пошел прочь. Правда, почему-то в противоположную сторону. Однако Пашка, у которого словно камень упал с плеч, на это не обратил внимания. А парень произнес:

— Давай в разные стороны, деревня. Видать, мужик крутой. Как бы нам морды не набили. — И с этими словами побежал на другую сторону улицы.

У кассы народа не было. До отхода автобуса оставалось пять минут. Успел! Пашка назвал место, куда ему надо было ехать и полез в сумку за Паустовским. Раскрыл книгу... Денег не было. Пашка похолодел. Руки и ноги вмиг стали ватными. Он лихорадочно стал листать страницы — все тщетно.

— С вас восемьдесят семь рублей пятнадцать копеек, — сказала кассирша. — Если можно, дайте с мелочью.

— Сейчас, сейчас. Простите. — Едва дышавший от ужаса, Пашка полез в сумку. На пол полетели одежда, свертки с гостинцами, документы. Денег нигде не было. И тут только до него дошло, что их украли. Украли эти двое. Забыв о сумке, он рванул на улицу. Потом бросился обратно, бормоча про себя: «Как же так?» и «Только не это, Господи!» Схватил сумку и вновь побежал на улицу. Пашка бежал, оглядываясь по сторонам, надеясь увидеть мужчину в куртке. Добежал до вокзала, бросился к таксистам:

— Вы... вы... — ему не хватало воздуха, — не видели человека в куртке кожаной, с меня ростом.

Таксисты засмеялись:

— А мы все в кожаных куртках, и все с тебя ростом. Как он выглядит, человек твой? Приметы особые есть?

— Приметы? Да, вспомнил — он рыжий.

Опять дружный смех:

— В наших краях, почитай, каждый второй мужик — рыжий. Да что случилось-то?

— Деньги у меня украли, — тихо сказал Пашка. — Все деньги. Домой вез. — И вдруг заплакал. Заплакал по-детски беспомощно. Смех стих.

— Эх, паря, — произнес самый пожилой из таксистов. — Обули тебя. Много хоть денег было?

Пашка назвал сумму. Кто-то удивленно присвистнул:

— Ого!

— Я полгода в Москве работал. На стройке. Копил. — Продолжая плакать, и шмыгая носом, чуть слышно ответил Пашка.

— И денежки твои плакали тоже, — насмешливо произнес один из таксистов. — В следующий раз умнее будешь.

— Замолчи, — цыкнул на него старший. — Человеку и так плохо. — Затем обратился к Пашке:

— Хоть какие-то деньги остались? В какие края едешь?

Пашка назвал свой районный центр.

— Далеко!

— Может мне в милицию пойти? — С какой-то робкой надеждой спросил Пашка.

— Бесполезно, — махнул рукой пожилой таксист. — Да и не возьмут они у тебя заявление.

— Почему?

— А им это надо? Скажут, что свидетелей нет — и прощай. Вот что, ребята, — обратился он вдруг к своим коллегам, — давайте поможем бедолаге. — И с этими словами дал пятьдесят рублей. Другие мужики тоже полезли в карманы, доставали деньги и передавали их старшему. В основном десятки. Затем тот пересчитал деньги.

— Вот, возьми, — протянул он их Пашке. — Сто шестьдесят рублей пятьдесят копеек, как в аптеке.

— Спасибо вам, — с голосом Пашки что-то случилось. — Спасибо. Я обязательно верну.

— Забудь. Ну, ладно, парень, счастливо тебе, а нам работать надо.

Знакомая касса. Женщина — кассир накинулась было на Пашку: «Я билет пробила, а вы убежали...» Но посмотрев в Пашкины глаза замолчала. Он протянул деньги. Получив билет, растерянно остановился посреди шумного зала. До отхода автобуса оставался целый час. Вокзал жил своей жизнью. Мимо Пашки сновали десятки людей, на него не обращавших никакого внимания. И вдруг он почувствовал, почувствовал впервые в жизни, что ему не хочется жить. Как он теперь вернется домой? Какими глазами посмотрит на мать, сестренку? Вновь встала перед глазами картина: он идет по деревне, Танюха, завидев его, выбегает из дома и со всех ног бежит к нему. И картина эта, раньше доставлявшая ему столько радости, на сей раз причинила почти физическую боль. Он, не понимая, что собственно делает, бродил из угла в угол, время от времени наталкиваясь на спешащих людей, пока не оказался в вокзальном буфете.

Вообще-то он был непьющим человеком. Последний раз пил полтора года назад, когда пришел из армии. Он подошел к стойке и после недолгих раздумий попросил:

— стакан портвейна и котлету.

— Сколько будете брать хлеба? — невозмутимо спросила буфетчица.

— Два, нет, один кусок.

— Котлету подогреть?

— Не надо. Нет, подогрейте.

Он никогда не пил портвейна. Что означают три цифры 7 на бутылке, Пашка не знал. Но портвейн был самым дешевым из всех спиртных напитков, продававшихся в буфете. Пашка нашел свободный столик у окна. Ему было немножко неловко, поэтому он быстро выпил свой портвейн. Оказалось, что он пьется намного легче, чем водка. Сначала Пашка даже был разочарован: портвейн показался похожим на забродивший сок. Но уже буквально через минуту, когда он судорожно заедал выпитое котлетой, живот наполнила приятная теплота, а в голове немного зашумело. Через минуту захотелось выпить еще. Пашка залез в карман и достал оттуда пятьдесят рублей. Может быть те самые, что дал ему старший таксист. Впервые за весь день безысходность и потерянности уступили место злости. Ему захотелось взглянуть в глаза тем подлецам, разыгравшим его, как щенка. Но их он больше не увидит, Пашка это понимал. А вот другим людям, которых было много вокруг, он вдруг захотел посмотреть в глаза. И вообще, разве это справедливо, что до него, Пашки, Павла Сергеевича Воробьева, никому в целом мире нет дела? Ему вдруг захотелось встать на лестницу, ведущую из зала в буфет и закричать на весь вокзал, нет, на всю Тверь... Опять нет, на всю Россию: «Люди, мне плохо! Я никому не сделал зла, почему же со мной так поступили? Люди!!!»

Пашка решительно отошел от столика, но вместо лестницы подошел к буфету. Достал смятый полтинник.

— Пожалуйста, мне еще...

И вдруг взгляд его случайно упал в дальний конец буфета. Там, на полу сидела женщина, судя по виду, славянской национальности. На ее руках спал ребенок. Больной ребенок. В левой, свободной руке женщина держала табличку, на которой было написано: «Люди добрые! Помогите, пожалуйста. Нужны деньги на срочную операцию». Пашка слышал, что развелось полным полно людей, спекулирующих на чужой сердобольности. От ребят, коллег по бригаде, он слышал, что в Москве за день такие люди получают до тысячи рублей, которые потом у них забирает мафия. Но здесь была не Москва. А еще... Еще они встретились глазами с этой женщиной. И такую боль, такую безысходность увидел в них Пашка, что вдруг к своему удивлению почувствовал в ней родственную душу.

— Молодой человек, так я не поняла, вам чего?

— Мне? — Пашка вздрогнул. — Мне ничего. — И отойдя от стойки подошел к женщине с ребенком. Протянул ей пятьдесят рублей.

— Возьмите, пожалуйста.

И не дожидаясь ответных слов, быстро направился к выходу. До отправления автобуса оставалось пять минут.

* * *

До отъезда оставались четыре, три, два дня. Писатель отдал последние распоряжения, упаковал свой немудреный багаж, не забыв заранее купить билеты и до Москвы, и до Энска. Чтобы быть спокойным за свою холостяцкую квартиру, отключил антенну у телевизора, газовую плиту, холодильник, в котором, впрочем, оставался только один сушеный омуль — последнее напоминание об иркутской поездке. Писатель, отдав должное мастерству байкальских рыбаков, съел омуля, запив его местным пивом, а утром... Это вновь была «какая-то сила», но на этот раз она подняла его не к письменному столу, а к унитазу. Похоже, это

было отравление. Писателя несло в самом буквальном смысле этого слова. На еду он и смотреть не мог. Немудрено, что за два дня «байкальского побоища» писатель потерял шесть килограммов. Но хуже было другое: от слабости его шатало. До отъезда оставалось два часа. Подняв свой багаж, писатель понял, что дальше ближайшего дома ему не дойти. Но обратной дороги не было. Внутренний голос, становясь все громче, шептал ему: «Куда тебе ехать? Оставайся! Оклемайся недельку-другую, а потом поедешь. Или... не поедешь. Что тебе делать в этой глуши? Ведь написал же здесь «Пашку»? Значит, не важно где, когда, важно чем — сердцем, душой. А ведь этого у тебя никто не отнимет».

Голос был сладок, убедителен. Но писатель чувствовал, что смалодушничай он, откажись от поездки — и все начнется сначала, все повторится — хмельное утро, опохмел, беспросветный день, вечер, полный благих надежд... Желудок предательски булькал, от слабости подкашивались ноги... Писатель, надев рюкзак на плечи, долго сидел у входной двери. Если он сейчас не поедет в Энск, кто его осудит? Да никто. Что, он не человек, что ли? Писатель тяжело вздохнул — и вышел из квартиры.

* * *

На вокзале Энска его встречали всей библиотекой, во главе с Надеждой Михайловной. Зеленому, как спирохета, писателю хватило сил только слабо улыбнуться встречающим. В библиотеке его ждал роскошный завтрак — сосиски, омлет, сыр, колбаса, чай. Посмотрев на все это, писателю вновь стало дурно.

— Вы не больны? — глядя ему прямо в глаза, спросила Надежда Михайловна.

— «Несет меня течение» — пропел писатель строчку из песни Юрия Антонова. Директор библиотеки не поняла. Тогда он кивнул:

— Болен.

— Кажется, я знаю, как вам помочь, — и, поднявшись, Надежда Михайловна направилась к сейфу.

— Ой ли?

Еще мгновение-другое, и Надежда Михайловна извлекла из сейфа начатую бутылку водки и поставила ее перед писателем. Затем, как по щучьему велению на столе оказались стакан и соль. Хозяйка библиотеки очень уверенно плескнула в стакан водки, насыпала туда соли, все размешала.

— Пейте!

— Простите?

— Пейте! Только, чур, не запевать.

— Водкой меня еще не лечили...

— Какие ваши годы! Ну, вперед!

Писатель выпил то, что ему предложили:

— Надеюсь, хуже не будет.

— Будет лучше. Уже через пять минут.

Удивительно, но через пять минут, впервые за несколько дней, ему захотелось есть. Ему вспомнились сосиски и омлет.

— А не будет хуже? У меня, знаете ли, опыт, — вновь затянул он свою волынку.

— Не будет, — сказала, как отрезала, Надежда Михайловна.

И оказалась права.

* * *

Было только лучше. Нет, было замечательно. Так чувствует себя моряк, старый «Морской волк», ступивший на палубу родного корабля после долгой отлучки. Или хирург, после длительной болезни вновь взявший в руки скальпель. Сначала — небольшое волнение, но проходит секунда, вторая... Писатель специально не готовился к встрече. Он попросил Надежду Михайловну отказаться от длительных вступительных слов и просто представить его, что она с радостью исполнила, с облегчением отложив в сторону листок с написанной речью. Писатель встал, осмотрел зал, дожидаясь, когда войдут последние опоздавшие. В маленьком зале собралось человек пятьдесят. Для Энска это было просто отлично. Люди сидели очень плотно, лица некоторых из них писатель вспомнил. Вон та девушка с блокнотом — это журналистка местной газеты. Кажется, ее зовут Света. А там, в самом углу — местный краевед. Это он в прошлый раз водил писателя по Энску. Матушка Евфалия. Пришла. Сидит вроде бы серьезная, а глаза улыбаются... С чего начать? Пожалуй, надо поздороваться.

— Здравствуйте, дорогие... — на секунду он задумался, как правильно назвать собравшихся. Улыбнулся. Ему сейчас было очень хорошо. Он любил их всех, своих читателей, людей, не пожалевших своего личного времени, чтобы послушать его. И вот в эту, вторую секунду, писатель понял, о чем будет говорить.

— Как сказать правильно? Энцы или — продолжил он.

— Энцы! — дружным хором ответил зал.

— Здравствуйте, дорогие энцы! Не думал, не гадал, а вот уже второй раз приезжаю в ваш славный город. Переспросил не случайно: иной раз так легко сконфузиться. Помню, выступал я в Ивановской области. Есть там районный городок — Южа, а неподалеку от него поселок, название которого вы наверняка слышали — Холуй.

Народ дружно закивал.

— На той встрече, я это знал, присутствовали жители и Южи и Холуя. Ну вот, вхожу, помнится в зал, и с разбега: «Здравствуйте, дорогие хо...холуи и южане».

Мне в ответ негодуяще: «Холуйцы! Южаки!» Извиняюсь, конечно. Что-то говорил, а потом, забывшись: «Итак, дорогие холуяне». Вы не представляете, что тут началось. Но, слава Богу, все обошлось.

Писатель открыл книгу и продолжил: Писатель почувствовал: зал был его. Он взял в руки одну из своих книг:

— Я долго думал, — не долго и не думал совсем, но ведь как без красного словца? — с чего начать нашу встречу? Тем более, что в прошлый раз я о себе почти все рассказал.

— Так не все же были тогда! — подал кто-то реплику.

— Согласен, но как по второму разу это будут слушать те, кто был? Давайте поступим так. Я приглашаю вас в свою творческую лабораторию, расскажу, из какого сора растет все это, а потом прочту то, что в итоге получилось. Согласны?

— Согласны!

— Вот рассказ «Шиповник». Ничего особенного, но для меня он дорог — это самый первый написанный мною рассказ. С тех пор прошло много лет, но тот июльский день я помню до мелочей. Мы, сотрудники редакции районной газеты «Маяк» едем в командировку в отдаленный колхоз. В старом, издававшем виды «газике» нас трое: водитель, фотокорреспондент и ваш покорный слуга. Мы довольно-таки быстро сделали все дела в колхозе, пора было трогаться в обратный путь, как вдруг фотокорреспондент говорит, обращаясь ко мне:

— Васильич! Тут неподалеку, километрах в десяти-пятнадцати...

— Ты уж скажи: в двадцати, — перебил его водитель, мечтавший побыстрее вернуться домой.

— Нет, Леха, пятнадцать — больше не будет. Так вот, деревня там стоит, а в ней моя тетушка живет. Какие она оладушки готовит! — пальчики оближешь. А речка там какая! Заедем к ней, а, Васильич? Я столько лет ее не видел...

Солнце стояло в зените, на работу возвращаться так рано не хотелось, а фотокорреспондент смотрел так просящее...

— А, семь бед... Только, чур: угощение чтоб было по полной...

И мы поехали. Впереди, разумеется, водитель, рядом с ним мой коллега, а я сзади. Всю дорогу, пока ехали, сидевший в пол оборота ко мне фотокорреспондент, рассказывал о своем детстве, проведенном у тетушки, о том, как они, мальчишками, купались в реке, какие славные и добрые люди живут в той деревне... В тот момент я впервые понял, насколько верна народная мудрость: «Глаза — зеркало души». Мой друг просто светился от счастья. Так ребенок ждет в день рождения долгожданный подарок, с такими глазами девушка приходит на первое в жизни свидание. И вдруг — словно облачко коснулось лица моего спутника. Коснулось, и прикрыло солнышко... А потом, потом такую боль, такую тоску я увидел в его глазах. И все — за считанные минуты. Ничего не понимая, смотрю туда, куда смотрит и он. Мы приехали. В деревню. А на месте деревни — голое поле. Ни домика, ни сарая. Только несколько кустов шиповника вдоль дороги. Мы вышли из машины. Фотокорреспондент закурил. Курил молча. Крепкий, взрослый, не склонный к сентиментальности мужик, а руки у него дрожали. Курил долго. Мы с водителем молчали, понимая, что творится в душе у человека. Затем он резко встал, отбросив сигарету в сторону:

— Извините, ребята, задержал я вас. Поехали обратно...

Мне осталось досказать немного: ночью я неожиданно просыпаюсь, какая-то сила подняла меня с постели. Достая чистый лист бумаги, ручку — и через два часа появился «Шиповник». Ну, а теперь мне осталось прочесть вам его.

И писатель стал читать.

Шиповник.

Сны ему снились каждую ночь, но он забывал их сразу же после того, как поднимался с постели. Но один сон, странный, оставивший после себя необъяснимую тоску, помнился до мельчайших подробностей. Вот этот сон.

Ярко-зеленый от молодой травы пригорок, густо усыпанный полевыми цветами, на пригорке — церквушка. Было в ней что-то одновременно и сиротское, и величественное. Он бежит к церкви, бежит из последних сил, потому что знает — там, за старыми кирпичными стенами, его взору откроется... Что именно откроется — этого словами не объяснишь. Родное, необыкновенно — чудесное, таинственно — притягательное — все близко к сути, но все же не то. И чем сильнее ему хочется увидеть, тем труднее бежать: неведомая сила преграждает путь, заставляет напрасно перебирать ногами.

Местность, увиденная во сне, была незнакома, но он не сомневался: там, за пригорком, за полуразвалившейся церковью — его родная деревня. Странно. Четверть века прошло с тех пор, как он приезжал туда за матерью, чтобы забрать ее к себе. Несколько лет, как уже нет мамы, городская жизнь не просто захватила его — он по-настоящему забыл, что когда-то жил в деревне. И вдруг — эта тоска. Особенно она донимала поздними вечерами. Родные давно спали, все меньше светящихся окон в доме напротив, помаленьку отступали заботы и тревоги — отступали без борьбы, ибо знали: завтра утром они вернутся вновь. А на их место приходили бессонница и тоска. И еще воспоминания. Он вдруг стал замечать, что все увиденное или пережитое в детстве, помнилось до мельчайших подробностей. Старинный барский сад, таинственный в своем запустении — для него это было лучшее место на свете. Впрочем, нет. Разве меньше времени проводили они с ребятами на пруду. Кто первым бросился в воду, когда тонула соседская Любка? До сих пор в ушах стоит крик проходившей мимо женщины: «Люди! Ивансерегеева Любка тонет!» А уже через минуту Паша выносил на берег мокренькое тельце. Вот кто первым кинулся в воду — Паша. Любка только всхлипывала, беззвучно шепча «мама» синими губами и крепко обхватив ручонками загорелую Пашкину шею. Сколько же тогда нам было? Семь классов закончили, точно.

Одно воспоминание цеплялось за другое, один эпизод вызывал к жизни другой — и так почти всю ночь. Наконец он решил, что единственная возможность вернуть сон и избавиться от тоски — поехать на родину. Просто и гениально. Там должны еще жить его тетки, двоюродные братья и сестры. На машине пути — меньше шести часов. Сказано, сделано. Пришлось, правда, выдержать атаки жены да провести соответствующую беседу с сыном, горячо выразившим нежелание «вставать ни свет, ни заря и ехать в какую-то деревню»...

— Какую-то!? — с пафосом подвел итоги беседы отец. — Оттуда наши корни, а человек без корней, это... Это не человек. Понял?

Но все это было уже вчера. А сегодня раннее воскресное утро, старенький «Москвич» весело мчит папу и сына по шоссе. И чем ближе деревня, тем больше волнуется отец. Картины встречи с близкими и знакомыми людьми, одна сердечнее другой, теснятся в мозгу. Сын тем временем потихоньку щипал булку, торчавшую из дорожной сумки.

— Ты, что никогда хлеба не ел?

— А куда им столько? Ну, колбасы — это я понимаю, а то хлеб...

— Дурачок, так в деревне люди хороший белый хлеб ценят, не то, что мы.

Так вот и ехали они — отец, с волнением ожидавший встречи с прошлым, и сын, недовольный тем, что его разбудили так рано и что он не посмотрит футбол.

— Да ты не переживай, Стас! Ты знаешь, как в деревне теперь живут? У тетки Полины посмотришь свой «Спартак» или что там еще будет? Пойми, мне очень хочется тебя там показать, пусть посмотрят, какой сын у меня вырос.

— Что я картина, чтобы меня показывать? Думал, хоть сегодня отдохну, завтра в школу топать.

Отец виновато вздохнул. Что поделаешь — молодость. Но вот справа показались пятиэтажки на берегу большого водохранилища.

— Ты посмотри, Стас, вот это да! Когда уезжал, здесь поселочек был, а сейчас смотри, настоящий город. Неплохо смотрится, правда?

— Господи, деревня деревней. Наш микрорайон раза в три больше этого города.

Стасу были непонятны восторги отца, и он, отщипнув кусок булки, закрыл глаза и откинулся на сиденье. Еще минут через десять они свернули с дороги. Теперь дорога шла вдоль небольшого леса.

— Здесь малины, ешь не хочу! Да открой ты глаза!

И он запел что-то веселенькое, но голос выдавал волнение. Стас улыбнулся:

— Первый признак старости — сентиментальность. Стареем, батя.

— Что? А, домов... До войны мать говорила, больше двухсот было. Сейчас, конечно, меньше. Но с полсотни, думаю, будет.

Миновали последний поворот. Вот и барский сад на пригорке. Но что за чушь такая? Сад на месте, а где пруд, где, наконец, дом? Машина остановилась. Он вышел и стал растерянно озираться вокруг. Сзади посвистывая, подошел Стас.

— Постой здесь, сынок. Ничего не понимаю. У сада, кажется, кто-то есть... Пойду узнаю, что к чему.

У кустов шиповника стояли белые «Жигули». Мужчина и женщина рвали крупные ягоды и бросали их в большую корзину. Женщина пару раз оглянулась в его сторону, что-то зашептала своему спутнику. До него донеслось:

— Успеется, успеется. Говорила тебе, вчера нужно было ехать. Люди не дураки, разнюхали. Рви быстрее.

Когда же он приблизился к ним, обернулась и очень даже приветливо спросила:

— За шиповником? Правильно, полезная ягода. Моему врач велел пить. А вы рвите, ягод всем хватит.

— Не за шиповником я, — осипшим, глухим голосом произнес он. — Хотел сыну родные места показать, приехали, а здесь будто сроду людей не было.

— В гости, значит? — Рассмеялась женщина. — Да тут уж поди пять лет ни одной души нет. Кто помер, кто в город уехал... Постой, а ты, чей будешь? Я ведь здешняя сама, а тебя не признаю. И она впервые с начала разговора оставила шиповник в покое.

— Да это Кузьминичны сын, — вступил в разговор ее муж. — Как она сама — то?

— В восемьдесят седьмом схоронили.

— Ну, ничего, пожила, дай Бог каждому, — супруги повернувшись к кусту, принялись опять за работу. И только женщина из-за плеча бросила напоследок: — Никого не осталось. Была деревня, а вроде как и не было вовсе. Зато шиповник здесь славный.

Он потоптался на месте, пытаясь продолжить разговор, но из этого ничего не получилось. Повернувшись, пошел в сторону сада. Из машины донесся крик сына

— Па, ты чего? Никого ведь нет, поехали обратно. Может, к футболу успеем, — и для верности посигналил.

— Сейчас, сынок, сейчас, как-то угодливо, будто виновен в чем-то, ответил он. — Ты выйди, разомнись.

Кругом простирались бескрайние поля. Где-то в вышине звонко пел жаворонок. Надо же, подумалось ему, когда здесь жил, все недосуг было посмотреть вокруг. Прав оказался отец: помянешь еще меня, сын, однажды позовет тебя земля. Позовет, — и никуда от этого не денешься. Говорил, когда провожал меня в город. А я спорил с ним...

Мысли его были прерваны сигналами, которые настойчиво подавал Стас. В тишине, стоявшей вокруг, они казались особенно громкими.

— Иду, иду.

Солнце катилось к закату. Машина плавно катила по автостраде. Чувствуя приближение дома, оживился Стас.

— Дома расскажем — обсмеются, — весело тараторил он. — Ехали к тете Поле, а приехали в поле. Ха-ха. Но ты особо не расстраивайся, мы из этих гостинцев дома пир устроим, так что все в порядке. Бензина только жалко, правда, — и не дождавшись ответа, сделал еще одну попытку вовлечь отца в разговор:

— А как эта деревня называется? Название чудное, забываю все. И вдруг осекся, увидев, как по лицу отца, внезапно посеревшем, текли слезы.

— Пап, ты чего это? Я же не хотел... Я же не думал... Прости.

— Ничего, Стасик, я не обижаюсь. Это я... Это моя...

Что хотел сказать отец, сын так и не понял. А тот неумело вытер слезы, дал машине газ и произнес глухим голосом, словно прощаясь с кем-то навеки:

— Кибень... Кибень называется.

* * *

Рассказ был принят на «ура», хотя писатель не лукавил, считая его не очень удачным. Незаметно пролетели два часа, но люди не хотели расходиться. Еще с час он отвечал на вопросы, подписывал книги. Последней подошла молодая женщина. Подошла, протянула книгу. Писатель с самого начала заметил ее: очень красивое лицо, роскошные черные волосы, очень живые зеленые глаза. Все портило выражение лица: уголки губ были опущены, от чего казалось, что женщина либо чем-то недовольна, либо ей просто скучно. Она одна во время выступления писателя не смеялась, когда смеялись все, да и вообще никак не реагировала на происходящее.

— Подпишите, пожалуйста.

— С удовольствием. Скажите, кому?

— Наташе.

— Какое у вас красивое имя.

— Это не мне. Одной девушке. Ей нравятся ваши книги.

— Спасибо. А вам, нравятся? — подписывая, спросил писатель.

— Еще не читала.

— Ну, а как вам вечер? — странно, но слегка пьяный от успеха писатель, которому люди уже сказали столько теплых слов, очень хотел услышать похвалу и от этой особы.

— Нормально, — спокойно ответила она, — вот только...

— Говорите, не стесняйтесь!

— Да я не из застенчивых, просто не знаю, нужно ли это вам...

— Не совсем понял вас, — слукавил писатель.

— Может, вы только похвалы слушать любите?

— Почему только похвалы? Критика — это тоже... хорошо.

— Вы и впрямь так считаете?

— Да, соврал писатель.

Женщина вдруг посмотрела ему прямо в глаза, а затем улыбнулась:

— Наташка сказала бы: «Не верю!»

— Станиславский тоже, — стал раздражаться писатель, чувствуя, что незнакомка видит его насквозь. Ему действительно не нравилась критика, более того, он ее терпеть не мог. Впрочем, герой вечера нашел в себе силы улыбнуться:

— Услышать из уст такой красивой женщины...

— Не продолжайте! — резко отозвалась та, — вы не должны говорить банальностей. Никогда.

— Это еще почему?

— Разочаруете таких, как Наташа. А мне бы этого не хотелось.

«Слушай, шла бы ты в конце концов отсюда» — подумал он.

— Хорошо, я пошла, — спокойно ответила женщина, взяла книгу и вышла, провожаемая растерянным взглядом писателя.

— Не обращайтесь на нее внимание, — это подошла Надежда Михайловна, по всей видимости слышавшая разговор писателя с женщиной, — москвичи они все такие — с гонором.

— А что, она москвичка?

— Кто же еще. Все свободные дома у нас покупали.

— Так сейчас, почитай, не лето, что ей в конце октября в Энске делать? — продолжал спрашивать писатель.

— Дочка у нее больная, — вмешалась в разговор другой библиотекарь, Татьяна Ивановна, — они от меня через три дома живут. Кто-то говорил, что у девочки с легкими что-то, ей чистый воздух нужен. А его у нас, слава Богу, сколько хочешь. Вот они здесь и поселились. Говорят еще, что у них...

— Слушайте, народ, — перебила всех вошедшая в читальный зал заместитель надежды Михайловны Ольга, — у нас уже все готово. Все скворчит и пышет.

Писатель и матушка Евфалия переглянулись.

— Арсений Васильевич, вы посидите, пообщайтесь, а потом вас проводят в монастырь.

— А может, вы тоже...

— Нет, нет, мне пора — дела.

— Какие дела, матушка, вечер на дворе? — простодушно удивилась Оля.

— Самое главное монашеское дело — молитва, — ответила матушка и, попрощавшись со всеми, вышла.

* * *

Писатель уже привык к таким застольям после своих выступлений, но всегда его искренне волновало радушие русских людей. Он знал, какие зарплаты у библиотекарей, абсолютное большинство из которых женщины. На эти копейки многие умудряются в одиночку растить и учить детей. Но вот приезжает гость, — и вскладчину собирается стол: домашние соленья, грибочки, тушеная картошка, — как говорится, цари вкуснее не едали. И не пивали, а иначе, зачем нужно все это?

Писатель и человек шесть библиотеческих уселись за стол. Первой, на правах хозяйки, слово взяла Надежда Михайловна:

— Уважаемый Арсений Васильевич, вот уже во второй раз вы приезжаете к нам, и всякий раз дарите столько радости! Нам очень приятно, что в своих многочисленных поездках, которыми мы восхищаемся...

— Скажете тоже, — пробормотал смущенный, но одновременно и счастливый виновник торжества.

— И нечего скромничать! Я правильно говорю, девушки?

Девушки дружно закивали:

— Правильно!

— Такие рюкзаки таскать. Другой бы плюнул на все...

— Арсений Васильевич не такой, он патриот...

— Тише, девочки, тише! — вновь уверенно взяла бразды правления в свои руки Надежда Михайловна, — согласна с вами: только человек, любящий Россию, нас, своих читателей, способен быть таким подвижником. За вас, Арсений Васильевич, за ваше подвижничество, за ваши новые книги.

Все дружно выпили.

— А что же не закусываете, Арсений Васильевич? — спросила Оля, — или еда не нравится? Чем богаты...

— Что вы! Все просто замечательно. Только есть у нас, русских писателей-подвижников одна слабость, — совершенно с серьезным видом сказал Арсений Васильевич.

— Какая? — оторвавшись от тарелки, подняла на него удивленные глаза Татьяна Ивановна.

— Мы после первой не закусываем.

Раздался дружный смех.

— А мой муж говорит, — это снова была Оля, — расстояние между первой и второй должно быть короче...

— Короче чего?

— Сейчас вспомню, Надежда Михайловна. Вспомнила: короче полета пули.

— А мой про взмах шашки говорит, — сказала доселе молчавшая скромная Вера Валентиновна.

— А мой...

— Короче, все мужики одинаковы, разница в нюансах, — Надежда Михайловна показала на бутылку, — Арсений Васильевич, у нас руку нельзя менять: раз начали разливать — продолжайте.

Выполнив поручение, писатель поднялся.

— Друзья мои, вы не будете против, если я скажу несколько слов?

— Еще как не будем!

— Слушаем.

— Вот тут про мои поездки говорили. На самом деле, не Бог весть какой подвиг. Обычная работа...

— Ну, не скажите!

— Оля, не перебивай Арсения Васильевича.

— Спасибо, Надежда Михайловна. Но вот что интересно, — продолжал писатель, — а ведь сегодня я отметил юбилей!

— У вас день рождения сегодня? Что же вы сразу не сказали?

— Нет, Олечка, это юбилей другого рода. Вы не поверите, но сегодня у меня была трехсотая встреча с читателями.

— Трехсотая?!

— Вот это да!

— Да, друзья мои, да. И я, честное слово, просто счастлив, что этот юбилей я праздную в вашем замечательном городе, среди вашего чудесного коллектива. Вот за это я и хочу выпить. За вас, друзья!

— Скажите, а вы помните свою первую встречу? — спросила Оля писателя.

— Слушай, дай человеку закусить, — возмутилась Надежда Михайловна, — кушайте, кушайте.

— Вы знаете, а я могу и есть и рассказывать. Вот такие мы русские писатели способные... Конечно, я помню свою первую встречу. Хотите, расскажу?

— Еще спрашиваете!

— Правда, если быть совсем точным, надо вести речь о двух встречах. Обе они прошли в один день. Книга, самая первая моя книга, тогда только вышла. Стали поступать отклики, письма. Почти в каждом было приглашение, мол, приезжайте к нам в город. Мне этого тоже хотелось, но я оставался реалистом. Во-первых, работа. Во-вторых, деньги, точнее их отсутствие. Согласитесь, просто так куда-нибудь в Мурманск не соберешься? И я благодарил за приглашения, но отказывал. И вот как-то приходит еще одно приглашение, из райцентра, который называется Некоуз.

— А где это? — спросила Оля.

— Вот и я тоже самое спросил. В Ярославской области, отвечают, недалеко от Рыбинского водохранилища. Поблагодарил я их, только положил трубку — снова звонок: «Вас Брейтово беспокоит». «А где это? — спрашиваю. — «В Ярославской области, на берегу Рыбинского водохранилища». Слушаю, и думаю: а ведь из этого может что-то получиться. А на том конце продолжают: «Вы не смотрите, что у нас село. Нашей библиотеке в прошлом году исполнилось 105 лет. У нас есть при библиотеке драматический театр, в нем даже прокурор наш играет. Если вы к нам приедете, мы еще раз отметим»... — «Что, простите?» — «105-летие». Ну и как, скажите, можно было отказаться от такого предложения? Узнаю, что в Некоуз ходит из Москвы один единственный поезд, точнее ходит в Рыбинск, а в Некоузе он стоит две минуты. Беру рюкзак с книгами, друзья везут меня на машине в ближайший от моего города населенный пункт — Кимры, где проходит эта ветка. На кимрском вокзале делаю первое неприятное открытие: мой поезд будет стоять здесь целый час. Потом столько же в Кашине, чуть меньше в Бежецке и так далее. А в Некоуз он приходит в пять утра, так что мне придется часа два-три кантоваться на станции, а после искать библиотеку...

В поезде я не сомкнул глаз — боялся проспать Некоуз. Впрочем, при всем желании мне бы этого не удалось: в вагоне в основном ехали рыбаки, начавшие отмечать будущий удачный улов еще по дороге к Рыбинскому водохранилищу. Но вот и Некоуз. Я оказался единственным, кто здесь сошел. Схожу на перрон. Декабрь. Мороз за двадцать градусов. Над головой огромные зимние звезды, за спиной огромный рюкзак, набитый книгами. Весело скрипит снежок под ногами, но мне совсем не весело: вокзал закрыт на огромный амбарный замок. Поезд, просигналив мне на прощание, скрылся во мгле. Успеваю заметить, что поселок одноэтажный, дома расположились по обе стороны железной дороги. На какой из сторон находится улица

Советская, где располагается местная библиотека? Но спросить-то не у кого. И вдруг — слышу песню. Она все громче, громче:

Ой, да не вечер, да не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось...

Через минуту ко мне подходит мужичок неопределенного возраста, судя по внешности и одежде — бомж. Чувствовалось, настроение у незнакомца было превосходным:

Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Ой, разыгрался — расплясался...

— Привет! — он заметил меня. — Закурить не найдется?

Я всегда удивлялся, что «стреляя» закурить, у нас говорится не «закурить найдется», а именно так, как сказал этот мужик. Однако тогда мне было не до лингвистических изысков. Передо мной стоял живой человек! Впервые пожалел, что не курю. Знал бы, заранее купил целую пачку.

— Прости, не курю, — отвечаю.

— Бывает, — миролюбиво отвечает бомж и идет дальше:

Разрезвился подо мной...

— Пойдите, — окликаю его, — спросить хочу...

И тут же задаю ему вопрос, после которого и он и я начинаем дико смеяться — другого слова не подберу. Догадались, о чем я его спросил?

— Как пройти в библиотеку? — под дружный смех присутствовавших озвучила вопрос писателя бомжу Надежда Михайловна.

— В пять часов утра! Ой, мамочки, не могу! — заливалась Ольга.

— Это Вицин в «Операция «Ы» говорит...

— А то мы не знаем, Татьяна Ивановна, — под новый взрыв смеха заметила заведующая.

Писатель, как опытный рассказчик, с невозмутимым видом выдержал паузу, дождался тишины, и продолжил:

Отсмеявшись, незнакомец задумался, приняв позу роденовского мыслителя. Задумался надолго. Я даже подумал, что бомж уснул. Ан нет: он, посмотрев мне в глаза, с виноватой улыбкой произнес:

— Прости, браток, я ведь в библиотеке лет двадцать не был...

И вдруг — радостно:

— Вспомнил! Библиотека у нас находится на улице Советской.

Господи! Да я и сам это знаю. А бомж, повернувшись и, удаляясь от меня, почти без паузы,

завел свою шарманку:

Ой, налетели ветры злые,
Да с восточной стороны
И сорвали...

— Слушайте, а где она у вас, эта греклятая Советская улица?

Мужик остановился, круто развернулся и... Мне этого никогда не забыть: он принял позу Маяковского, читающего стихи, то бишь широко расставил ноги, плечи расправил. Затем бож резко вскинул правую руку в сторону от себя: «А у нас весь Некоуз — улица Советская!» И столько в этих словах было гордости за свой родной поселок, что мое плохое настроение вмиг улетучилось. Тем более, мужик оказался прав: улица Советская составляла своеобразный стержень поселка и тянулась через весь Некоуз.

Но мои встречи с местными оригиналами на этом не закончились. Минут через тридцать двери библиотеки мне, уже изрядно замерзшему, открыла милостивая девушка лет двадцати-двадцати двух. Я понял, что меня ждали: на столе кипел самовар, в тарелках лежали пирожки и бутерброды. Это было весьма кстати, но, согласитесь, в незнакомом месте, рядом с незнакомым человеком не хотелось поглощать еду в полной тишине. Задаю один вопрос девушке, другой, третий. Но на все мои вопросы только «да», «нет» и «не знаю».

— Сколько жителей в Некоузе?

— Не знаю.

— Чем здесь народ занимается?

— Не знаю.

— Сама ты жизнью довольна?

— Да.

— Где-нибудь училась?

— Нет.

— А хочешь?

— Не знаю.

И далее все в том же духе. Но, похвастаюсь, я ее разговорил, честное слово! Очень много Аня, так звали девушку, рассказала. А когда говорила о своей любимой лошади, — ее семья держала лошадь, — увлеклась. И, знаете, насколько был образен и чудесен ее рассказ, что я забыл о бутербродах...

Когда спустя год или два, я, уже подружившийся с некоузцами, вновь приехал к ним презентовать свою вторую книгу, первым делом спросил у директора библиотеки:

— Людмила Дмитриевна, а где у вас Аня?

— Запомнили? У нее сегодня выходной.

— Жаль, хотел с ней поздороваться.

— Понравилась?

— И это тоже. Но она мне поначалу странной показалась: что ни спрошу — «не знаю», «да» и «нет» — только и слышу.

Людмила Дмитриевна рассмеялась:

— Сейчас могу вам сказать. Мы ей строго-настрого наказали: к нам едет писатель. Это очень любопытный народ, писатели. Он наверняка станет тебя обо всем расспрашивать. Кто его знает, может, потом такое о нас понапишет! Так что ты, говорим мы Ане, за весь Некоуз отвечаешь. Вот она и ответила...

Ну вот, а потом было самое первое в моей жизни выступление перед читателями. В девять часов утра. А потом меня ждало Брейтово. Теперь для меня это место, где живут мои дорогие друзья, а тогда... Приезжаю — село оно и есть село. Сама библиотека поначалу показалась мне большим кирпичным сараем. Удобства — на улице. Захожу — и обмираю: зал набит народом. А на передних рядах мужчины и женщины в костюмах 19 века. Догадываюсь: местные актеры. В Некоузе я, похоже, разминался, а тут разошелся не на шутку. Я даже забыл, что мне вечером ехать «любимым» рыбинским поездом обратно. Директор, Татьяна Ивановна, мне на часы показывает, а народ, заметив это, зашумел: «Пусть говорит! Нам интересно». Но Татьяну Ивановну тоже надо было понять: они действительно собирались повторить празднование своего юбилея. Специально для меня. Спектакль у ребят получился просто замечательным. Особенно хороши были в своих ролях методист библиотеки Олечка, она же главный режиссер, и прокурор.

А после спектакля был праздничный ужин. В бедном-пребедном Брейтове мои хозяева накрыли стол, который мне показался поистине роскошным. Меня посадили между Олечкой и прокурором, оказавшимся очень коммуникабельным и обаятельным человеком.

Знаете, на мой взгляд, нет ничего лучше теплого и сердечного русского застолья. Вокруг меня — люди в костюмах давно ушедшей эпохи. Смотрю, прокурор берет в руки гитару. А как душевно он поет... Кажется, это Окуджава. Не выдерживаю, прошу у него гитару. Пою Визбора. Подпевают все. И я, только сегодня познакомившийся с ними, понимаю, что люблю их, таких простых и сердечных...

— А нас вы любите? — неожиданно спросила Надежда Михайловна. После нескольких рюмок она покраснела и уже совсем не походила на ту несколько жестковатую женщину, которую писатель видел сегодня утром.

— Конечно, — серьезно ответил он, глядя ей прямо в глаза, — очень люблю.

На какой-то момент за столом наступила тишина, но Арсений Васильевич первым преодолел неожиданное смущение:

— Понимаю, вы устали. Мне осталось досказать немного. Сидим мы, значит, пьем, поем, ведем задушевные разговоры. Неожиданно к Олечке подходит невесть откуда взявшаяся крупная, я бы даже сказал — массивная женщина лет шестидесяти. Берет она нашу Олечку за шкуру, небрежно поднимает со стула, а сама садится на ее место. Уперлась ладонью в подбородок и смотрит на меня влюбленными глазами:

— Ох, Арсений Васильевич, как же вы меня утешили...

— Я? Чем же?

— Тем, что приехали. Не поверите, когда я книгу вашу читала — обрыдалась вся. Особенно, когда Лиза умерла.

— Спасибо за добрые слова.

— Спасибом сыт не будешь. У меня для вас подарок.

И с этими словами она полезла в огромную сумку, которую я поначалу не заметил. Женщина долго чем-то шуршала, а затем с торжествующим: «Вот она, родненькая!» — извлекла из сумочных глубин бутылку с какой-то светло-коричневой жидкостью.

— Что это? — спрашиваю.

— Как что? Самогон. Мой самогон.

— Спасибо.

— Пейте на здоровье и пишите еще, нам на радость.

— Так вот сейчас и выпьем. Володя, — обращаюсь к прокурору, — давайте разольем на всех. Он потянулся было за бутылкой, но моя собеседница остановила его:

— Отставить!

— Почему? — спрашиваю.

— Как почему? — искренне удивилась она, — Перебьются. Мой самогон самый лучший в Брейтово. Это только для вас. Пейте!

— Что, прямо сейчас?

— А то когда же? Чтобы не подумали, будто хвастаюсь.

Делать нечего, наливаю в свою рюмку ее самогон. Под взглядом ее одновременно влюбленных и требовательных глаз, выпиваю все до дна. Крепкий! Хочу что-нибудь положить в рот, но не успеваю. Женщина, по-прежнему не убирая ладонь из-под подбородка и не сводя с меня глаз, спрашивает:

— Почему молчите?

— ?!

— Молчите, говорю, почему? Ведь вижу, что понравился.

— Кто?

— Какие вы, писатели, в реальной жизни бестолковые! Самогон, кто же еще?

— Понравился.

— Я же говорила... Тогда почему не спрашиваете?

— Господи, о чем?

— О рецепте. Меня все спрашивают, а я никому не даю. А для вас сделаю исключение.

Разумеется, я спросил у женщины, каков же рецепт такого чудесного самогона. Уже через минуту понимаю, что передо мной настоящий поэт этого напитка. Она с таким упоением стала рассказывать, сколько нужно добавить лаврового листа, ванили и чего-то там еще, что я успел подать знак прокурору, и тот быстренько разлил содержимое бутылки на всех. Я был спасен.

Прошел год. Я снова в Брейтово. День города. Думаю, вам не надо объяснять, что происходит в такие дни. Толпы людей вокруг, гремит музыка, люди торгуют, покупают, развлекаются... Я несколько рассеян — не люблю толпу, да и выступать скоро. Вдруг каким-то боковым зрением вижу, как в моем направлении, рассекая людское море столь же уверенно, как ледокол крушит лед, движется женщина. Лицо до боли знакомое. Где я мог ее видеть?

— Арсений Васильевич, приехали? Вот утешили, так утешили!

И я мгновенно все вспомнил. В руках женщины все та же огромная клеенчатая сумка. Мы мило беседуем, как вдруг она спохватывается:

— Что это я стою? Я же вам заказ принесла.

— Какой заказ?

— Не какой, а чей. Ваш.

— Мой?

— Ох, уж эти писатели! Сами же просили...

И с этими словами женщина полезла в свою бездонную сумку, долго там чем-то шуршала, а потом достала... Вы догадались, друзья, что она достала?

— Бутылку самогона! — ответил писателю дружный женский хор.

Только Татьяна Ивановна что-то писала на салфетке. Когда смех утих, она подняла глаза на писателя:

— Арсений Васильевич, простите, можно уточнить: лавровый лист — правильно? Ваниль... А что еще?

* * *

Писатель попытался открыть глаза. Сначала открылся один. Сознание возвращалось маленькими порциями. Сначала он не мог понять, где находится, потом до него дошло, что лежит на постели в келье. Странно, а почему стены в комнате абсолютно круглые? Ах, да, это же башня! Ныла нога, болело плечо... Точно, вчера он, поднимаясь по витой лестнице, вновь наступил на больную ногу и рухнул вниз. Слав Богу, что успел подняться не очень высоко.

А что это на столе? Неужели заботливая матушка Евфалия принесла чай? Нет, это не чай. А что же? Рассол! Огуречный. Спасительница... Самое то.

Открылся и второй глаз. Писатель осмотрел келью. Все скромно и чистенько. Обстановки по минимуму. Стол. Стул. Рукомойник для умывания, под ним табурет с тазом. Маленькое оконце. Пахнет свежеструганным деревом. Чуть правее окна — большая икона на стене. Богородица с младенцем на руках. Оба смотрят на него, писателя. Почему Они так укоризненно смотрят?

Раздался стук в дверь.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную.

Это была матушка. Как же надо ответить? Ведь помнил же... Забыл.

— Войдите, — ответил писатель.

— Проснулись? — настоятельница сначала перекрестилась на икону, затем взяла стул и поднесла его к топчану, на котором лежал писатель. Тот попытался приподняться.

— Лежите, лежите. Худо, небось?

— Да нет, я привычный. Сейчас вот оденусь — и на службу.

— Не пойдете.

— Почему? Не пустите? Плохо себя вчера вел?

— Причем здесь я, Арсений Васильевич? Служба закончилась час назад, отец Леонид очень хотел познакомиться с вами, но не дождался — уехал.

— Как закончилась? А сколько сейчас времени, матушка?

— Скоро будет обеденная трапеза. Вот пришла вас звать.

— О, Господи! Вы, наверное, ругаете меня, матушка?

— А за что?

— За то, что проспал воскресную службу.

— Так вы сами себя и наказали. Вчера говорили, как мечтаете встать на заре, искупаться в речке, сходить на службу, исповедоваться... А вон оно что в результате получилось, — и настоятельница выразительно посмотрела на пустой стакан из-под рассола. Писатель почувствовал, что краска стыда заливает его лицо.

— Простите, — чуть слышно прошептал он.

— Бог простит, Арсений Васильевич. Я на вас не в обиде.

— А вчера... вчера я... плохо себя... вел? — удивительно, но сейчас многоглаголевый и велиречивый писатель с трудом подбирал слова.

Впервые за все время разговора настоятельница улыбнулась:

— Вы, как ребенок: плохо, хорошо... Пришли очень поздно, всех нас подняли на ноги. С Надеждой Михайловной и Олей прощаться не хотели. Уговаривали меня взять в свою келью директора библиотеки, а ее заместителя вы решили взять к себе, обещая, что будете с ней спать «валетиком».

— О, Господи!

— Нет, самое интересное, что эти две кумушки были на все согласные. Неужто ничего так и не помните?

— Смутно. Помню за что-то обиделся на Надежду Михайловну...

— Она спросила, не еврей ли вы. По ее мнению, в России все писатели, музыканты и банкиры — евреи. Потом вы нам читали Рубцова, потом... потом была лестница. Слава Богу, все обошлось. Как рука, не болит?

— Немного.

Они замолчали. Матушка Евфалия будто собиралась с духом, чтобы произнести свой окончательный приговор, а писатель... Он уже готов был произнести те слова, которые каждое утро говорил себе: «Обещаю, что с сегодняшнего дня»..., но что-то заставило его промолчать.

— Вот и хорошо, — вдруг сказала, вставая, настоятельница. — От избытка сердца уста молчат. После обеда я принесу вам кое-какие документы, может, найдете для себя что-то интересное...

— Матушка, вы прогоните меня?

— Нет. Я же знаю, что такого больше не повторится.

— Не повторится...

— А после обеда приглашаю вас на наше монастырское кладбище. Мне нужно будет вам кое-что показать.

— С удовольствием, матушка.

* * *

Писатель не лукавил. Арсений Васильевич любил старые сельские и монастырские кладбища. Только там с него быстрее всего слетала шелуха суеты, хорошо, как он любил выражаться, дышалось и думалось. В прошлый его приезд сюда матушка уже показывала ему монастырский погост, сетуя на то, что многие надгробия были уничтожены, опрокинуты, искалечены. Писатель, увидел на сей раз совсем другую картину — все прибрано, приведено в порядок, во всем чувствовалась заботливая женская рука и доброе сердце. Но матушка без слов провела его мимо больших мраморных и чугунных надгробий, также молча прошли они сквозь сотни крестов и железных обелисков со звездами — на этом участке кладбища хоронили с середины прошлого века, продолжали хоронить и сейчас. Наконец, полuzаросшая тропинка привела писателя и монахиню к месту, где заканчивалось кладбище. Там заканчивался и берег: вот так бежит-бежит человек, а потом вдруг резко останавливается, увидев, что земли дальше нет. Тропинка обрывалась. Дальше шел обрыв, а внизу весело плескалась речка, еще не такая широкая, как за городом. Писатель подумал, что настоятельница приглашает его полюбоваться открывающимся видом. Он уже готов был продекламировать стихи Василия Андреевича Жуковского, которые любил цитировать при таких обстоятельствах:

Уж вечер. Облаков померкнули края
Последний луч зари на башнях умирает,
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

Писатель даже использовал эти строки в одной из своих книг. И вот сейчас, когда за его башню-келью садилось солнце, отражаясь закатными лучами в Волчице, а облака на противоположном краю неба уже потемнели, и он готов был тихо и проникновенно, как научился в последние годы после многочисленных выступлений, продекламировать эти чудесные строки, в этот самый момент, будто угадав его намерение, матушка Евфалия поднесла палец к губам. А потом махнула рукой, мол, идем дальше. Они пошли вдоль обрыва в

сторону. Еще шагов двадцать... еще десять...

— Здесь, — это было первое слово, произнесенное настоятельницей за все время прогулки по кладбищу. Глаза ее сияли, лицо от ходьбы и волнения покраснелось. — Вот здесь наш Петруша лежит.

Она благовестно перекрестилась, затем, встала на колени и поцеловала едва заметный могильный холмик.

— Как? Тот самый?

Разумеется, писатель слышал о Петруше, местном юродивом. Его еще называли «тронувшийся монах». В Энске кроме женского был раньше и мужской монастырь. Когда его закрыли, настоятеля увезли куда-то, а пятерым монахам было велено убираться подобру-поздорову. Четверо ушли, а послушник Петр остался. Был он, говорили солидным, степенным человеком. В монастырь пришел, когда умерла его юная жена, которую, опять-таки по местным преданиям, очень любил. Когда монастырь закрывали, с двух храмов сорвали кресты. В этот момент Петруша будто и тронулся умом. Его гнали, а он упорно возвращался к родной обители, где уже расположился сельскохозяйственный техникум. И летом, и зимой ходил он босой, в дырявой рубахе. Всегда молчал. Никто от него не слышал ни единственного слова. Добрые люди давали ему то кусок хлеба, то вареную картофелину. Петруша брал молча, не благодарил, а только крестил дающего. Но иногда он бросал подавание на землю и отходил, плюясь. И пошла молва, что берет милостыню Петруша только от хороших людей, чья совесть перед Богом и ближними чиста. Потом стали замечать и другое. Сейчас сказали бы: прозорливец, а тогда... Подойдет бывало к дому, а там ребенок больной, в жару весь. Местный врач уже вынес вердикт, мол, двустороннее воспаление легких, надежды почти нет. А юродивый достает из-за пазухи какую-то тряпочную куколку, начинает баюкать ее, потом перекрестит — и уходит прочь. Родители смотрят, а жар у ребенка спадает, он засыпает, дыхание становится спокойным, ровным. Утром глазки открыл, покушать попросил. Одним словом, выжил ребенок.

Кто-то считал это бабьими сказками, другие хмыкали про себя, слушая о том, как Петруша однажды зимой увидел лежащего в поле мужика. Тот был в городе, зашел в «чайную», там хорошо принял на грудь. Ему советовали заночевать в Энске. Но что для него пьяного пять верст по снежному полю? Бог весть, как оказался в том же поле Петруша. А мужичок уже притулился к стожку сена и стал засыпать. Лег рядом юродивый, обнял мужичка, так они до утра и пролежали. Утром мужик просыпается, а под ним земля видна — снег растаял. Щупает себя — не верит, что жив остался. А Петруша встал, перекрестил спасенного, и пошел прочь.

А вскоре нашли «тронутого монаха» мертвым. В районе виска — кровоизлияние. Начальник милиции, дабы не возбуждать религиозных настроений в городе, взял трех милиционеров и глухой мартовской ночью похоронил Петрушу. Где похоронил — никому не сказал. Подчиненным строго-настрого приказал молчать. Двое из них погибли в войну, третий умер в начале пятидесятых от рака. Остался один начальник. Стал он известным в области человеком, в Энске, хоть и давно уже здесь не жил, его фотография, как почетного гражданина города, висела на центральной площади города. Умер глубоким стариком в Москве, став пенсионером союзного значения. Похоронить себя просил на энском монастырском кладбище. Но и родственники и городские власти не до конца выполнили последнюю волю почившего. Его похоронили в Энске, но не на старом монастырском кладбище, а на новом, на центральной аллее, под звуки ружейного салюта.

Все это писатель, живо интересовавшийся историей малых городов России, узнал еще во время

первого приезда в Энск. Видимо, за это время открылось много нового. Он, следуя примеру матушки, тоже перекрестился, опустился на колени и поцеловал маленький холмик. Когда поднялся, по лицу настоятельницы понял, что сейчас услышит самое интересное.

— Я ведь собиралась вам показать то, что мы поправили на нашем кладбище за эти годы. Восстановили некрополь Милославских, Чернышевых. Только отправила вам письмо, бежит сестра Елизавета. Говорит, дорогая машина к воротам подъехала, просят настоятельницу. Сестра, отвечаю, неужто такие гордые, что во врата войти не могут? Позови их.

Приходят. Пожилая женщина, а с нею двое мужчин помоложе. Вы, спрашивают, здесь главная? А сами с ноги на ногу переминаются. Чувствую, люди от церкви далекие. Стараюсь приободрить. Хотите, говорю, покажу, как мы здесь живем? Согласились. Повела я их по монастырю, показала все. Они очень уж удивлялись, что нас всего трое, как, мол, управляетесь со всем? А мы, отвечаю, не одни. С нами Господь и Пресвятая богородица. Переглядываются. А у вас службы проходят? Так для этого монастырь и существует, отвечаю, чтобы Богу служить. А священник у нас замечательный, отец Леонид из Дальней Троицы, он нас окормляет, исповедует, службы проводит. А можно, продолжают спрашивать, сделать так, чтобы за человека одного, уже умершего, здесь помолились? Конечно, для этого люди монастыри и основывали, чтобы монахи и монахини не только за себя, но и за живых, и за усопших молились. Только бы человек крещеный был. Переглянулись. «Кажется, он крещеный был. До революции ведь всех крестили?» — говорит женщина. Потом посмотрела на меня как-то странно и попросила своих мужчин отойти в сторону. Начала он так: «Вы только не смейтесь надо мной». — «Да зачем мне над вами смеяться?» — «Вообще-то я в Бога не верю. То есть, не то чтобы совсем. Нет, какая-то сила существует, может это космос или что-то вроде этого». Да, думаю, только диспутов мне не хватало. Стараюсь отвечать как можно мягче: «Может, вам стоит для начала придти к священнику того храма, от которого ближе всего ваш дом?» — «Нет, я к нему не пойду. Он на иномарке ездит, дом себе новый строит». — «Но ведь вы тоже к нам не на «Оке» приехали?» — «Мы другое дело, мы ее заработали, а он их у народа взял». Вздыхаю я тяжело, что такому человеку сказать. «Мы здесь тоже грешные, говорю». — «Ладно, матушка Ефимея...» — «Евфимия» — «Пусть так, закроем тему. Перейду к главному. Отец мне стал часто сниться. Сначала думала, что к перемене погоды, а он и в хорошую, и в плохую... Приходит к моей постели, это я про сон, садится рядом и вздыхает. Ох, говорит, плохо мне, дочка, очень плохо. А на днях он говорит мне: «Я человека, дочка, убил, а потом зарыл, как собаку». «За что?», — спрашиваю. «А ни за что, получается. Пьяный я был. Вынес ему угощение, одежду свою, старую, но справную, а он — нищий и голый, плюнул и отвернулся. Схватил я камень, да и кинул в него с обиды. Попал в висок. Он и упал замертво». Домашним сон рассказываю, а они смеются. Зять говорит: «Ты, мать, сериалов насмотрелась». Женщина замолчала, а потом продолжила: «А вчера он снова пришел: «Могилку «тронутого монаха» девочка одна укажет, она живет в доме, где раньше почта была». Поднялся и ушел».

Слушаю ее, а сердце у меня колотится. Понимаю, про блаженного Петрушу речь. «А как звали вашего отца?» — спрашиваю. «Павел Емельянович Смольников. Он в Энске был знаменит. Сначала возглавлял комсомольскую ячейку, потом добровольно пошел в милицию, когда после расстрела Ежова там потребовались новые кадры, честные и преданные. Здесь, в Энске, дослужился до начальника милиции, потом его перевели в областной центр, потом в Москву».

Как сказала она все это... Нет, Арсений Васильевич, я не могу передать вам свое состояние...

— Неужели и девочка нашлась?

— Нет, девочки никакой нет. На месте старой почты давно уже больница стоит. Я, думаю, это от лукавого. Главное, мы поняли, кто убийца.

— А как же нашли могилку?

— О, это было настоящее чудо. Те люди в Москву уехали, я по делам в епархию. Приезжаю, бегут мои, Елизавета и Мария. Сестры, говорю, что стряслось? Обе криком кричат: «Могилка блаженного Петруши нашлась!» — «Да что вы такое говорите?!» А они плачут, что-то мне пытаются рассказать, а я ничего не понимаю. Так говорю, сестра Мария молчи, а ты, Елизавета, рассказывай все, только спокойно. Только вы уехали, говорит она, приходит к нам женщина, представилась сотрудницей местного краеведческого музея Ларисой. Рассказывает, что у них в музее начался ремонт, и они, сотрудники, весь день переносили вещи, экспонаты, документы. Лариса занималась именно документами. Одна пачка, другая... К вечеру, говорит, устала, — лестницы крутые, попробуй весь день походи вверх-вниз. И вот она идет с очередной пачкой бумаг и слышит, как их старший сотрудник, фамилию мы забыли, но он у них очень известный, окликает ее: «Лариса, душечка, у вас бумаги сыпятся». И подает ей листок. Она поблагодарила, взяла, а когда принесла пачку на место, глянула в листок, а там написано: «Могила Петруши», а чуть ниже рисунок. Вот и решила Лариса нам его показать. Мы уже и место это нашли. Кстати, Арсений Васильевич, не хотите посмотреть? Чем не сюжет для новой книги?

— Конечно, хочу.

— Я теперь его с собой все время ношу, — и матушка протянула писателю небольшой листок, явно вырванный когда-то из школьной тетради. Арсений Васильевич бережно принял его. Действительно, в верхней части была крупная надпись: «Могила Петруши», а внизу нарисована схема. Угадывалась река, рошица на противоположном берегу. Монастырь был обозначен большим крестом, кладбище несколькими маленькими, а могилка кружком, внутри которого была нарисована буква «П». Неожиданно писатель удивленно поднял брови и хмыкнул.

— Что такое? — заметила это матушка.

— Да так, показалось... Действительно, все четко. Так чья это бумага?

— Лев Борисович...

— Кто?

— Ну тот, известный энский краевед, который Ларису на лестнице окликнул, считает, что это бумага того самого милиционера, который умер от рака.

— Один из тех, кто хоронил блаженного?

— Да.

— Но ведь они все молчали. Разве не так?

— Молчать-то молчали, а совесть, видно, мучила. Лев Борисович вспомнил, что перед смертью милиционер тот несколько тетрадей своих воспоминаний передавал в музей. Наверное, в одной из тетрадей и был листок.

— Да, все логично. Я часто бываю в запасниках музея, там черт голову сломит.

— Арсений Васильевич! — матушка укоризненно посмотрела на писателя.

— Что такое? А, понимаю! Простите, больше не буду его упоминать. Выражение уж больно образное... Матушка, скажите, а что вы намерены делать дальше?

— Завтра еду к старцу Илие. Бог даст, благословит нам... Ладно, что об этом говорить? Завтра все видно и будет.

Но когда они шли от реки обратно в монастырь, женская натура матушки взяла свое. И она поведала о своих мечтах: перенести захоронение блаженного Петруши на территорию монастыря. Матушка даже место присмотрела — в нескольких шагах от единственного уцелевшего собора.

Над городом и обителью опускался вечер. Писатель любил эти выражения — «опускался вечер», «опускалась ночь». Как все-таки потрясающе образен русский язык! Кто видел, как в средних и северных наших широтах сгущаются сумерки — неслышно, тихо, даже как-то задумчиво, согласитесь, что более удачного выражения — «опускается вечер» трудно придумать. Матушка пошла по делам, которых у нее всегда было невпроворот, а Арсений Васильевич попросил разрешения побродить по кладбищу в одиночестве.

— Зачем спрашиваетесь? — даже обиделась матушка Евфалия, — здесь теперь ваш дом.

— Вы про кладбище? — улыбнулся писатель.

— Да ну вас! Вам бы все шуточки шутить. Я про монастырь наш.

— Извините, матушка. Просто иной раз без шутки жизнь совсем горькою становится...

— То-то и оно, — вздохнула монахиня, — всем хочется сладкого.

— А много сладкого — вредно. Ведь так?

— Все-таки вы неисправимы, Арсений Васильевич, матушка наконец-то не выдержала и улыбнулась. И мгновенно лицо ее преобразилось. Женщина будто помолодела.

— Стойте! — воскликнул Арсений Васильевич.

— Что такое?

— Улыбнитесь еще раз. Пожалуйста!

— Вы меня пугаете...

— Эх... У вас такая чудесная улыбка. Почему вы всегда нахмурены, сосредоточены?

— А чему радоваться, Арсений Васильевич? Узки врата спасения.

— Как чему? Тому, что Господь даровал нам эту жизнь, что терпит нас со всеми нашими грехами. Это я о себе, — оговорился он. — Что каждому из нас дано призвание и то, что мы делаем — нужно людям. Ведь это же здорово — быть кому-то нужным.

— Поэтому вы столько месяцев ничего не пишете...

— А потому что дурак. Неблагодарный дурак. Мне бы за каждый лишний день благодарить Бога, а я...

— Ну-ну, продолжайте, — матушка, не переставая улыбаться, смотрела прямо в глаза писателю, — мне нравится ход ваших мыслей.

— Так сказал же: неблагодарный дурак.

— Вот держите в себе это состояние, Арсений Васильевич. Будет уходить — вспомните эту минуту.

— Тогда и я вас прошу, матушка: не отпускайте.

— Кого?

— Улыбку.

— Что вы с ней ко мне привязались? Смотрите, а то рассержусь.

— Не рассердитесь, вы добрая. Просто я прошу вас быть такой, какая вы есть. Не надо соответствовать образу.

— Ну вы меня еще поучите.

— Почему бы и нет? Я же — дурак, только что сам признался в этом. А к нашему брату Господь особенно милостив.

— Опять смеетесь?

— Ничуть! Да и разве не у апостола Павла написано: «Радуйтесь!»

— Вот вы куда повернули... Ловки! У нас еще будет время об этом поговорить. Сейчас мне надо идти.

— А я с вашего позволения...

— Любите вы говорить, Арсений Васильевич. Какое позволение? Ну, конечно же, можно. Все можно.

* * *

Писатель остался один. А ведь матушка права, подумал он. «Любите вы говорить». Действительно, люблю. И чтобы слушали, затаив дыхание, тоже люблю. И вновь она права: «От избытка сердца уста молчат». Выходит — пустота в сердце?

Арсений Васильевич со вздохом опустился на скамью возле старого мраморного надгробия. Стало совсем темно, так что букв на нем он разобрать не мог. Да и важно ли это было сейчас? Ему вдруг показалось, что в его жизни уже были — и этот вечер, и это кладбище. И то, чем сейчас наполнялась его душа — тоже было. Разве это возможно? Но ведь было, было... Заречье? Но тогда, тридцать лет назад, в Туле был ясный день. Летали шмели и цвела сирень. Надо же, вспомнилось тульское кладбище... Еще хотел рассказ об этом написать. Так и не написал...

Неожиданно писатель поднялся. Впервые за столько времени ему просто физически захотелось сесть за стол, взять чистый лист и ручку. Через полчаса он уже сидел в своей келье и писал. А когда утром робкий осенний луч прорезал пространство комнаты, осветив столик, с лежащими на нем пятью исписанными листами, писатель только лег спать. Думаю, он на нас не обидится, если мы прочтем написанное.

Старая фотография.

В свои юные годы мне хотелось знать обо всем на свете. И, разумеется, — любимым занятием было чтение. Читал я горы книг, читал до одури, но эту "жажду" утолить не удавалось. Друзья называли меня "ходячей энциклопедией", это льстило и только давало новый толчок к узнаванию всего и обо всех.

Сейчас об этом вспоминается с улыбкой, а тогда... К двадцати годам все острее вставал передо мной вопрос о смысле жизни и вновь, наивный, я отыскивал очередную книгу и свято верил: вот она, самая-самая, она научит меня жить...

Впрочем, искать-то истину я искал, но и без элемента тщеславия, повторяю, не обходилось. Какое это было наслаждение, в компании, среди оживленного спора, небрежно бросить фразу — то ли Паскаля, то ли Ницше... А еще эффектнее, туша огарок сигареты или сделав последний глоток портвейна и подержав рюмку перед глазами, будто увидел в ней что-то необычное, произнести: "У Монтеня есть хорошая мысль".

Вскоре я стал замечать, что уже начинаю мыслить цитатами — красивыми ли, остроумными, а то и просто мудрыми, но сам умнее не становился, может быть, даже наоборот. Книга стала моим другом, но не смогла объяснить те самые истины, ответы на которые я так тщетно искал. Много позже на глаза мне попало стихотворение, — даже автора его не знаю. Четыре строки из него просто резанули по сердцу, — это были слова про меня, двадцатилетнего:

Я прозревал, глупея с каждым днем,
И прозевал домашние интриги,
Не нравился мне век и люди в нем
Не нравились. И я зарылся в книги.

Одним словом, книжная мудрость, не пропущенная через сердце, не обогащенная опытом жизненных ошибок и неудач, не сдобренная солью от пота трудов праведных и пройденных дорог, — всего лишь "суета сует"...

С улыбкой листаю свои старые записные книжки: "Время потому исцеляет скорбь и обиды, что человек меняется: он уже не тот, кем был". Блез Паскаль,

Время... Пришел однажды день, и я понял всю неумолимость, трагичность, жестокость времени. До этого я что-то "глубокомысленно" говорил на семинарах по философии, упражнялся в остроумии. А на Тульском кладбище, очень старом и заброшенном, мне стало понятно сердцем то, что раньше понимал только умом.

Не знаю от чего, но куда бы я ни приходил в своих странствиях, обязательно шел на местное кладбище. Хожу вдоль оград, читаю фамилии на памятниках, считаю, сколько прожил человек. На кладбищах хорошо думается, а грусть тихая, сладостная. Когда-то Жуковский написал элегию "Сельское кладбище", где очень хорошо выражено настроение:

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
Лишь дикая сова, таясь...

То кладбище было уже заброшено. Многоэтажки городских окраин подступали к нему все ближе и ближе. Я долго ходил меж старинных надгробий и думал о людях, лежащих здесь, об их быте, теперь безвозвратно ушедшем; думал, точнее, представлял их жизнь, заботы... И вдруг на одном надгробье я увидел фотографию. Чуть ниже ее — подпись. Такие-то муж и жена... скончались... году. А на фотографии — они, в день своей свадьбы. Он — сидит на стуле, руки лежат на коленях. Завитые усики, ровнехонький пробор. Ему под тридцать, лицо очень серьезно, даже важно. Она — стоит, положив ему руку на плечо.

Опереться на плечо, — думаю я, — как это верно, какое удачное и точное выражение. Рука у

нее маленькая, беззащитная, а он такой уверенный в себе. Белое платье. Фата. Красивое лицо. Счастливое, но тоже очень серьезное. Наверное, так было принято — не улыбаться. Сдержанность даже во взгляде. Фотограф, — представляю опять, — что-то щебетал без умолку, отпускал комплименты барышне, может быть, про птичку, которая вылетит, говорил... Щелкнул — и осталась фотография. Мгновение остановилось. Навсегда.

Я стоял пораженный. Никогда не видел свадебную фотографию на надгробье. Вновь всматриваюсь в нее. И они, тогда молодые, моложе, чем я сейчас, смотрят на меня. Смотрят — и молчат. И только ветер чуть колыхает траву, под которой они лежат. Между нами — вечность, между нами тишина, которую живым не услышать покуда они ходят по земле. И словно весточка оттуда — эта фотография.

Когда они фотографировались, им, наверное, казалось, что впереди бесконечная жизнь. Разве думают на свадьбе о смерти? Только что они стояли в церкви у аналоя, хор им пел "Многая лета". Дома готово застолье, собираются гости. Целую неделю их свадьба будет главным событием улицы. Потом начнутся будни. По утрам он будет уходить на работу, она хлопотать по дому. Вечером на стол поставят самовар, они соберутся вокруг него — сначала вдвоем, а затем, когда подрастет первенец, втроем... А окончится все этим могильным надгробьем...

Защемило где-то внутри. Стало тоскливо. Я искренне горевал о незнакомых мне людях, которых видел такими красивыми, счастливыми, я тосковал по себе, потому что придет день, и я тоже умру, а кругом будет жизнь, плохая ли, хорошая, но жизнь. И никто не вспомнит обо мне, ходившем по этим же улицам, смотревшего на это же солнце... Но горше этой мысли была другая: для чего всё, если такая красота, как у девушки с фотографии, превращается в прах, в ничто! И чем дольше я стоял, тем более был уверен: двое с фотографии смотрели на меня и что-то хотели сказать. Но что? И вообще, мистика какая-то, — я резко повернулся и пошёл от могилы прочь. Но на самом выходе, когда перед глазами встали огромные дома. Остановился, затем бросил рюкзак — и вернулся. Мне никогда не быть здесь больше, так хоть постараюсь запечатлеть этот женский взгляд из прошлого...

... С тех пор я часто бывал в Туле, но на кладбище то не ходил, боялся. Вдруг тупой и безжалостный каток превратил его сначала в строительную площадку, чтобы потом на этом месте могла вырасти очередная многоэтажка. Но лицо, глаза той женщины всегда со мной, они живут во мне. Тогда, на кладбище старая фотография помогла мне ощутить всю зыбкость этого мира. Но только спустя годы я смог понять, о чем эти двое с фотографии хотели мне сказать. Но это уже моя тайна.

А мудрые афоризмы я с тех пор не записываю. И лишь изредка, когда сумятица дел опутывает меня с ног до головы, я сажусь в кресло, закрываю глаза и предо мною встаёт прекрасное женское лицо с той фотографии. Несколько мгновений достаточно, чтобы вся паутина, опутывавшая меня, исчезла напрочь. Я дремлю и уже не понимаю, — то ли ветер гудит за окном, то ли он колыхает старый вяз над далёкой могилой.

* * *

Матушка вернулась к вечеру. Увидев сидящего возле ворот писателя, ласкавшего главную местную кошку Муську, она улыбнулась. Но глаза у нее были грустные. Это заметил и писатель.

— Добрый вечер, матушка. Как доехали?

— С Божьей милостью, Арсений Васильевич.

— Устали?

— Есть немного. Ох, избалуете вы нашу Муську. Вы трапезничали? — все это матушка проговорила почти без паузы.

— Вас ждем.

Монахиня опять улыбнулась:

— Вы не правы, но мне... приятно.

— Как съездили?

— Как съездила? Не знаю.

— То есть? — удивился Арсений Васильевич.

— Что хотела — не получилось, но ведь все, что Бог не делает...

— Так значит, владыка..

— Да, не благословил. Велел все оставить, как есть.

— А как объяснил?

— Кто я такая, чтобы мне что-то объяснять?

— Человек.

— Наивный, вы, Арсений Васильевич. У нас же, как в армии — без послушания нельзя.

— Нет, это я как раз понимаю. Почему он не объяснил свое решение?

— Повторяю, не обязан он мне ничего объяснять. Значит, так надо.

Писатель хотел спросить: «Кому?», но сдержался. В самом деле, что он хотел еще услышать от матушки? С другой стороны... Ему было жаль матушку, чья мечта если и не рухнула, но в своем воплощении отодвинулась во времени на неопределенный срок, но в то же время в душе возникло чувство некоего удовлетворения решением епископа.

После трапезы Арсений Васильевич ушел к реке, на обрыв, как он сам стал называть это место. Там и нашла его матушка.

— Так и знала, что вы здесь, — сказала она и встала рядом. Вот так они простояли, молча, глядя вдаль, туда, где скрывалось солнце, чтобы до следующего утра отдать мир во власть темноте и мраку.

— Вы очень расстроились, матушка Евфалия? — нарушил наконец долгое молчание писатель.

— Да что вы! Если владыка сказал... — и вдруг осеклась, улыбнувшись виновато: «Простите! Зачем лукавлю? Конечно, расстроилась.

— Понимаю вас. Но я и сам...

Он хотел рассказать ей о своих сомнениях, но вдруг понял, что сейчас не самое лучшее время для этого. Матушка посмотрела на него:

— Почему не договариваете?

— Что? Я и сам такое переживал не раз.

Матушка улыбнулась:

— Теперь вы лукавите.

— Самую малость. Это хорошо.

— Что лукавите?

— Что вы улыбаться стали чаще... Вот увидите, все будет так как должно быть. Ведь у вас — мудрый владыка?

— Очень. И добрый. Я же вам не все сказала, когда приехала из епархии.

— Может, и не надо, а матушка?

Она же словно не услышала его:

— Сказал тихо, чтобы слышала только я: «Опять лошадей гонишь?» И я все поняла. А вы?

— Да вроде все понятно: торопитесь вы, а владыка предлагает переждать.

— Значит, не все. Помните, как мы с вами познакомились?

— Конечно. Меня друзья привели сюда. Зашел на час, а остался на три дня.

— Не пожалели?

— Нет, конечно. Я по приезде из Энска рассказ написал.

— «Молитесь за меня»?

— Он самый. Скажу честно — это мой любимый рассказ. Так ту историю мне вы и рассказали.

— Положим, вы и от себя кое-что присочинили.

— Так ведь без этого же нельзя — рассказ все-таки. Художественное, простите, произведение.

— Не оправдывайтесь. Мне рассказ нравится. Елизавете с Марией тоже.

— Простите, матушка, но вы же мне писали, что книгу с этим рассказом у вас кто-то взял и не вернул. По крайней мере, Елизаветы тогда не было в монастыре.

— Все просто. Действительно, книги с тех пор не видела, а рассказ наизусть помню.

Писатель недоверчиво посмотрел на собеседницу.

— Не верите?

— Почему... верю... Впрочем, тоже не буду лукавить: верю, но не очень.

— Тогда слушайте.

Матушка начала читать. Разумеется, книги перед ней не было, но и декламацией то, что слышал Арсений Васильевич называть бы не хотелось: настолько просто, безыскусно, но в то же время, душевно и проникновенно она произносила текст рассказа.

«Все, опоздала! — матушка Евгения, запыхавшаяся от быстрой ходьбы, тоскливо глядела на пустую привокзальную площадь города. До монастыря, где она была настоятельницей, больше двадцати километров. Автобус в ту сторону пойдёт только утром.

На автостанции матушке посочувствовали, но помочь ничем не смогли. Она уже внутренне приготовилась к тому, что придется заночевать в городе, как в дверях автостанции её чуть не сшибла женщина, устремившаяся к окошку диспетчера.

— Люська! Люська, черт тебя дерит! Уснула что ли? — Матушка Евгения при слове «черт» быстро перекрестилась и повнимательнее посмотрела на кричащую. Той было под сорок, потертые, выдавшие виды джинсы, серая куртка. Окошко отворилось. Женщина-диспетчер, тем же спокойным тоном, каким она минуту назад разговаривала с монахиней, ответила:

— Ну что ты кричишь? Вечно как угорелая носишься. Давай бумаги.

— Не ворчи. Просто домой скорей хочется.

Тут только матушка Евгения поняла, что эта женщина — водитель такси. Её серая «Волга» стояла у самого входа в автостанцию. У монахини затеплилась надежда. И хотя ни внешний вид женщины, ни её манеры матушке не понравились, «Волга» была для настоятельницы последним шансом добраться затемно до монастыря.

— Простите, — окликнула она садившуюся в машину таксистку. — Вы ещё работаете? — матушка сделала вид, что не слышала разговора женщины с диспетчером.

— Оработала уже. Сейчас машину в парк поставлю — и домой, — ответила та.

— Видите ли, я в городе по делам была, и вот... опоздала на последний автобус.

— Да, до монастыря далековато, — в голосе женщины прозвучало искреннее сочувствие. Она на мгновение задумалась, а потом, словно приняв решение, махнула рукой:

— Ладно, мои оглоеды без меня поужинают. Садитесь, поедем.

— А сколько это будет стоить? — робко спросила матушка.

— Поехали, говорю. Там видно будет.

Долгие северные сумерки уже затемнили окрестные поля. Машина ехала по пустынной дороге. Таксистка включила музыку. Прислушавшись к тому, что поет певица, матушка перекрестилась ещё раз.

— Выключить? — улыбнувшись, спросила водитель.

— Если можно, пожалуйста.

— Всё правильно. Вам лучше такие песни не слушать. А мне, честно говоря, нравится. Жизненно.

— Мне это трудно понять, — вздохнула матушка. Ещё пять минут назад она радовалась тому, что всё так хорошо закончилось, а сейчас уже искренне скорбела, думая о таксистке.

— Вы меня простите, — обратилась монахиня к женщине, — как вас зовут?

— Анна.

— А по отчеству?

— Да какое там отчество, мы же шоферня. Начальника гаража по — отчеству зовём, остальных по именам.

— И что, с вами одни мужчины работают?

— Почему? Диспетчеры, бухгалтерия, — начала перечислять Анна, но потом, словно поняв подтекст вопроса, засмеялась:

— Нет, ребята меня не обижают. Да и за баранкой я уже лет пятнадцать.

— А вот вы в брюках, — матушка пыталась быть тактичнее. — И выражения всякие допускаете. Наверное, курите? Это всё не спасительно.

— Курю, — вопреки опасениям матушки, Анна спокойно отреагировала на её слова. — Кстати, а как к вам полагается обращаться? Сестра?

— Нет, я настоятельница. Мать настоятельница.

— Вы думаете, мать настоятельница, я о своих грехах не знаю? — она махнула безнадёжно рукой. — Только ведь это в рекламе по телевизору дура какая-то под машину в мини-юбке лезет. Не видели?

— Я не смотрю телевизор.

— Ну да, я забыла. А выражаюсь ... бывает, но не подумайте, что я сквернословка какая ... Если матернусь ненароком, то по делу.

— А в Бога веруете? — матушка уже овладела ситуацией.

— А как же без этого?

— В церковь на исповедь ходите?

— В великий четверг ходила. Когда ещё? Да, получается раз в год.

— Надо чаще. И каяться, каяться надо в грехах. Их мало знать, надо с ними бороться. На вашей работе для женщины столько искушений.

Наступило молчание. Анна о чем-то задумалась. Матушка уже не сомневалась, что Господь свёл её с этой женщиной не случайно.

Вот и ворота монастыря. Когда Анна сказала, что денег брать с матери настоятельницы не будет, матушка Евгения обрадовалась, но уже не удивилась. И только в душе возблагодарила Господа, что она, грешная, своими словами тронула эту женщину. На прощанье пригласила Анну приходить в монастырь:

— У нас служит на литургии отец Лонгин. Вот увидите: придете раз, захочется придти ещё. И исповедник он замечательный. — И добавила:

— А я буду всегда молиться о вас.

Прошло несколько дней. В их быстротекущей череде постепенно забыла матушка Евгения

таксистку Анну. Работы в монастыре было непочатый край, в город приходилось ездить по-прежнему часто, но пути женщин не пересекались. А однажды, во время короткого ночного сна, было матушке видение,

Она и ещё две женщины поднимаются на гору. Одна — прежняя её знакомая ещё по той, до монастырской жизни, а во второй матушка Евгения узнала таксистку Анну. Окрестности горы очень живописны, вершины не видно. Идут они легко, дружно. Вдруг городская её приятельница говорит: " Не могу больше. Не идут ноги. " Матушка удивлена, ведь идти так легко, так приятно. Дальше они идут вдвоём — матушка Евгения и Анна. Всё круче подъем, всё больше камней на пути. Вот уже и она чувствует, как деревенеют ноги, как усталость сковывает их своими цепями.

Её покидают силы. А что же Анна? Она по-прежнему идёт легко, бодро. Только обернувшись на прощанье, улыбнулась сочувственно — и пошла дальше. Наверх. Одна.

Проснулась мать настоятельница с тяжелым сердцем. Она пыталась себя убедить, что сон из разряда пустых, ничего не значащих. Или это искушение дьявольское. Но сон " не отпускал". А где-то через месяц, в самый канун её именин, сон повторился. В мельчайших подробностях. Да и сон ли это был? Матушка сидела в своей келье и, казалось, на минуту задремала...

И она поехала в город, искать Анну. Нашла быстро. Та узнала её, обрадовалась.

— Давайте ещё раз прокатимся? С ветерком! — у Анны было хорошее настроение. — В соседний райцентр через два часа поезд из Москвы приходит, я обычно туда за пассажирами еду. Вас довезти — крюк небольшой.

Чтобы поговорить обстоятельнее, матушка Евгения согласилась. На этот раз она решила подробнее расспросить таксистку о её работе. Ибо себе она уже расшифровала сон: гора — это путь на Небо, к Богу. Анна поднялась выше неё, ради Бога бросившую налаженную жизнь, надежды на создание семьи. Почему?

Анна рассказывала охотно, ей явно льстило внимание матушки. Как живёт? Да как все сейчас. Трудно. Раньше у них в парке было четырнадцать машин, осталось четыре. Считается, что шофёр берёт у руководства машину в аренду. Есть клиент, нет, а в конце месяца выложи положенные деньги. Запчасти, ремонт — тоже из своего кармана. Но ничего, выкручиваемся. Муж шахтёр, грех жаловаться — пьёт в меру, детей любит, целыми днями на даче возится. Впрочем, что ему ещё делать — работает два дня в неделю, а деньги и за них не платят. Получается, всю семью кормлю.

— Да, — вспомнив, обернулась к матушке Анна. — А я ведь у вас в монастыре на службе была. Причаститься не получилось, а батюшка в самом деле понравился. Хорошо служит.

— Что же меня не нашла?

— По сторонам посмотрела — не увидела, а специально спрашивать как-то неудобно было.

И тогда матушка решила спросить напрямую.

— Когда мы виделись ... в тот раз ... я тебе о грехах говорила. Ты на меня не обиделась?

— А на что обижаться? Вы же правду говорили. Вот, — и она показала на пачку сигарет, лежащую под лобовым стеклом, — сколько раз обещания себе давала: брошу. А ни черта не получается. Ой, простите, — и она опять засмеялась своим смехом, который уже не раздражал

матушку. Анна смеялась, откидывая назад голову, очень громко. — Вырвалось. А правду говорят, что ... нечистого лучше не вспоминать?

— Скажи, — словно не слыша её вопроса, вновь обратилась к Анне монахиня, — скажи, ты, наверное, в жизни ни на кого не обижаешься? Не осуждаешь никого, да?

— Куда вы хватили! Чего-чего, а косточки мы бабы другим людям помыть любим. Я что, особенная? А обижаться, по-моему, тоже с умом надо.

— Как это с умом?

— Обидит меня человек несправедливо, а потом извиниться — мол, с горяча, — что же обиду в сердце держать? Бывает, и сама наорёшь на человека, потом отойдёшь, остынешь...

Последние слова Анна оборвала, не докончив фразы. Машина встала.

— Что-то случилось? — спросила матушка.

— Чуть не проскочила за разговорами, — и Анна головой указала направо. Чуть сзади из маленькой деревушки на большак выходила полевая дорога. По ней почти бежали две старушки.

— Да не бегите, "одуванчики", подожду. — И, обращаясь к матушке, добавила. — Добросим бабок до села? Они за хлебом в магазин топают. Это, почитай, километров шесть в одну сторону.

В это время подбежали к машине старушки.

— Спаси Господи, спаси Господи! Здравствуй Анна, мы уж думали, что ты раньше проехала.

— Ну и прошлись бы. Говорят, полезно.

Старушки увидели матушку. Лица их были знакомы ей, а уж то, что Анна везёт матушку настоятельницу, привело их в восторг.

— Ладно, хватит кудахтать, — с деланной сердитостью проговорила Анна. — Я из-за вас к поезду опоздаю. Бабушки притихли, сложили руки на своих многочисленных сумках и словно окаменели.

Но когда через пять минут они высаживались у магазина, старушки вновь загалдели, не жалея превосходных эпитетов Анне. Та только отмахнулась. Не успела за ними захлопнуться дверь, как перед машиной возникла женщина:

— Анна, помоги! Тут дед Михайло со вчерашнего дня околачивается. С Григорием скотником пенсию обмывает.

— Ну и флаг ему в руки. А я — то что могу сделать?

— Да бабка его, — она же тётка мне, — извелась небось, совсем! А он ещё день— два, с этим обормотом всю пенсию пропьёт. Тебя-то дед уважает.

— Где он?

— Да вон у магазина сидит. Михаил Иваныч, — внезапно закричала женщина, — тебя Анна

зовёт.

К удивлению матушки дед не заставил себя долго ждать.

— Привет, радость моя! — изрядно поредевший рот старика расплылся в улыбке. — Чё звала?

— Чё звала, чё звала... Такси подано, сэр. Садись, старый хрыч, довезу прямо до дому.

— Ладно шутить, ведь в обратную сторону.

— Так из большого уважения, да и матушка благословит, а то ведь оставишь бабушку свою без пенсии...

По разговору Анны монахини было трудно понять, когда та говорит серьёзно, когда нет. Но дед послушно погрузился на заднее сиденье, " Волга " развернулась и понеслась в обратном направлении. Затем ехали полевой дорогой, сворачивали ещё куда-то — матушка не знала этих мест, — пока наконец деда не довезли до самого дома.

Когда ехали обратно, матушка спросила:

— Вы же опоздать можете к поезду...

— А! — только махнула та рукой. — Пустяки. Да и вы разве по-другому бы поступили?

— Я? — переспросила монахиня, — и не нашлась что ответить...

Она попыталась уговорить Анну высадить её, чтобы той не делать лишний крюк, но таксистка была неумолима.

— Я же обещала.

Позже матушка у своих же послушниц узнает, что Анну знают во всех окрестных деревнях. И она никогда не проедет мимо идущего старика или маленького ребёнка, если в машине есть место. Но это настоятельница узнает позже. Пока же, прощаясь с Анной, она поцеловала её. Женщина смутилась, не ожидав от строгой, одетой во всё чёрное монахини такого порыва.

— Матушка настоятельница, если что надо будет, довезти куда — только свистните, ой, то есть, ... позовите.

— Хорошо, Анна, — ответила та и быстро пошла от машины. Но у самых ворот обернулась. Анна уже заводила машину.

— Не слышу, матушка? — таксистка высунулась из окошка.

— Молитесь за меня, Анна, — тихо произнесла мать Евгения и скрылась в проёме монастырских ворот.

— Что вы сказали? — проводив взглядом монахиню, Анна посмотрела на себя в зеркало.

— Да, Анюта радикулит ты себе уже нажила, а теперь, оказывается, на старости лет глухой стала, пора на пенсию.

Через секунду " Волга " неслась по дороге обратно в город, потому что к поезду из Москвы было уже не успеть».

— У вас потрясающая память, — сразу после того, как умолкла матушка, сказал писатель. Сказал, и рассердился на себя: хотел похвалить, а сказал совсем не то, что следовало бы сказать.

Она вздохнула.

— Поздно уже. Пойдемте назад... Память здесь не причем, хотя я на нее и не жалуясь.

— Кажется, понимаю. Хоть вы и говорили тогда, когда рассказывали мне об Анне, что слышали эту историю от других, на самом деле...

— На самом деле она обо мне.

Арсений Васильевич остановился:

— Вы та самая матушка?

— Я та самая таксистка. Анна.

* * *

Писатель не любил позднюю осень. Не любил, когда в пору своего одинокого отрочества и ранней юности долгими темными вечерами бродил по пустынным улочкам своего родного городка, чувствуя такую душевную неприкаянность, что хотелось плакать. Случайные встречные прохожие, куда-то торопились, пробираясь меж огромных луж. Что они будут делать дома, думал тогда Арсений, куда торопятся? Над городком, после дежурного осеннего дождя, висела темная неподвижность. Серый и унылый Советск хоть на какие-то часы накрывала таинственная мгла. А они торопятся. В теплую квартиру, к уюту домашнего очага? Только спустя годы писатель узнал, как действительно чудесно — после долгого и трудного пути возвращаться домой, где тебя ждут и любят. И если даже тебя никто не ждет, все равно славно — возвращаться к родному очагу. Только вот беда — он не знал где теперь его родной очаг и даже в уютных и теплых домах писатель ощущал эту душевную неприкаянность и одиночество. Другое дело, что в пору поздней осени их приступы становились невыносимыми.

Сегодня, спустя годы, его родной городок уже виделся сквозь романтический флер, накинутый на покрывало лет. А Энск — сырой, грязный, неухоженный и какой-то жалкий был сейчас, в это мгновение. Не будь над этими домишками антенн, поди, догадайся, в каком ты сейчас веке. Наверное, и сто, и двести лет назад также шуршали под ногами листья — шелуха лучше времен, также надрывно лаяли на чужака, идущего по пустынному проулку, собаки.

Писатель не заметил, как просто земля сменилась подобием асфальта — верный признак того, что близок центр города. Шел он без цели, просто так. Писателю вообще хорошо думалось, когда он неспешно шел, не забывая голову тем, куда идти. Шел, и все. Мысли роились вокруг того, что он увидел и услышал в монастыре. То, что Анна из его рассказа стала монахиней — удивительным не было. Другое дело, что сейчас он переписал бы концовку рассказа. А может, и не переписал. Кто знает, что будет еще через год-другой, да и это уже — совсем другая история. Удивляло его не это, а какая-то потрясающая легкость, с какой в монастыре в последнее время происходили чудеса. Незнакомцы с рассказом о вещих снах, листки, выпадающие из каких-то папок... С другой стороны, чисто по-человечески матушку можно понять. Глухой угол, маленький городок, больше похожий на большую деревню, паломники едут совсем в другие места, туда где благодатные мощи, где старцы... Нет, в чудеса он верил, и никто на свете не мог бы убедить Арсения Васильевича, что чудес не бывает. Особенно после того пасмурного июльского дня 1991 года, когда он заблудился в огромном поле под Рязанью. Кто странствовал, тот знает, что в хмурый серый день в открытом месте заблудиться легче, чем

в лесу, тем более, когда перед тобой — пустынная, без конца и края степь, а дороги давно заросли, что если умирают деревни, то в первую очередь умирают тропы, тропинки, дороги, по которым ходили люди, сеявшие хлеб. А если хлеб не сеют... Впрочем, это уже совсем другая история.

Итак, однажды, впрочем, Арсений запомнил даже конкретное число — 9 июля 1991 года, он шел в сторону Рыбного из Серебряных Прудов. Вообще-то шел он из Оптиной до Владимира, но в тот момент его интересовало Рыбное — небольшой райцентр в Рязанской области. С утра зарядил не по-летнему нудный дождь. Он решил сократить дорогу, пройдя дневной путь напрямик, однако не учел, что, как правило, между двумя областями наезженных дорог мало, а пешие давно заросли. Считай, одна умершая деревня (в России их умирает по пятьдесят в день) — это, как минимум, четыре умерших дорожки... Что уж говорить о дорогах?

Вот и брел будущий писатель час, второй, третий, а деревни Коровино, где он планировал заночевать, как не было, так и нет. Тут надо сделать небольшое отступление. То его странствие было вторым или третьим, в рюкзаке он нес маленькую иконку Николая Угодника. Когда после трех-четырёх часов напрасных блужданий Арсений вновь вернулся на то место, где уже был, он снял рюкзак с плеча, бросил его о землю: «Все, не могу больше!» А затем, неверующий человек, вспоминая напутственные слова бабушки Анны, произнес, тихо-тихо, будто сам стесняясь этих слов: «Господи, помоги! Николай Угодник, милостивый чудотворец, помоги мне, грешному».

Вдруг постеснявшись своей слабости, он медленно поднялся, взвалил рюкзак на плечи и... На самом краю горизонта Арсений увидел маленькую точку. Минута, другая, и вскоре стало понятно, что это — человек, идущий ему навстречу. За весь день — ни души, а тут сразу — как по заказу. Арсений обрадованный рванул к нему что есть духу.

Дедушка. Сколько лет не понять. Может, семьдесят, может сто. Седенькая бородка, белесый пух волос вокруг лысины. За плечами какая-то дореволюционная котомка. Увидел Арсения — улыбнулся.

— Заблудился, сынок? — спросил, будто все уже знал.

— Заблудился, дедушка, — Арсений был так обрадован, что забыл удивиться прозорливости случайного прохожего.

— В Коровино, небось, идешь?

И опять ответил, не удивившись:

— В Коровино!

— А поворачиваешь вправо вон за тем полем?

— Точно!

— Та дорога в Михалево вела, а Михалева уже нет. Вот ты и куролесишь, сынок.

— А как же...

— Пройти чуток дальше, тропку увидишь — пока еще можно увидеть. Вот по ней и придешь в Коровино.

— Спасибо, дедушка, — проговорил скороговоркой Арсений и пошел, да нет, что там — побежал дальше. Но не прошел он и ста шагов, как остановился, будто вкопанный. До него дошло: в этакой глухомани... дедушка... совсем старый... А если ему нужна еда, вода, деньги, лекарства? Ему, Арсению, нужно неизвестное пока Коровино, а если он, Арсений, нужен этому дедушке? Впрочем, еще не поздно все исправить. И вот Арсений поворачивается назад, а

позади — чистое поле. И ни души.

Огорошенный, он обвел взором поле от горизонта до горизонта, от края до края.

— Дедушка... Эй, дедушка!

Тишина. Только слышно, как начинающийся дождь падает на листья лопуха. А шагов человеческих слышно не было...

Неожиданный запах заставил писателя прервать воспоминания и остановиться. Но уже через мгновение он, как крыса, услышавшая звук дудочки, пошел вослед за доносившимся из невзрачного одноэтажного здания, запахом. Пахло до боли знакомой смесью из жареных котлет, пива и дешевого портвейна... Так пахли в пору юности Арсения все дешевые кафе и забегаловки в России от Пскова до Хабаровска. Он думал, что их век уже прожит, что они уйдут в небытие, уступая место заведениям пусть и того же названия и предназначения, но... Даже будучи писателем Арсению было трудно объяснить это «но». Как передать запахи, атмосферу, душевное состояние, которое трудно понять непосвященному. Дело не в том, что он постарел, как и не в том, что появились микроволновки, а за пивом не надо стоять в очереди — бери, сколько хочешь. Да и в жареные котлеты не стали класть больше мяса и меньше хлеба. Куда-то ушел дух тех, старых заведений. Немного домашний, дружелюбно-спокойный по отношению к любому человеку, впервые зашедшему туда. Много странствуя по стране, Арсений в годы свои молодые любил эти закусовые еще и зато, что даже будучи в толпе, там можно было сохранить своего рода независимую индивидуальность. Ты мог быть со всеми — и одновременно один...

Обоняние не подвело писателя и вот уже через пару минут он стоял подле невзрачного строения с покосившейся вывеской «афе дочка». Догадаться было не трудно: оригинальное название — «Кафе Звездочка» изменилось впоследствии потери нескольких букв.

Внутри было все точно также, как это сохранилось в закромах памяти Арсения. Посетителей совсем немного. Скусающая продавщица равнодушно глянула на зашедшего, но произнесла вежливо:

— Чего-то желаете?

Странно, но в этот самый момент писатель подумал о том, почему он назвал женщину «продавщица», а не «продавец» — так ведь, наверное, правильнее будет?

— Простите, что вы сказали?

— Я говорю, пить что будете?

— Еще не решил.

— А-а, ну тогда решайте.

На самом деле пить ему вовсе не хотелось. Арсений и сам не понимал, зачем пришел сюда. Из простого любопытства? Чтобы, вспомнив былое, ненадолго почувствовать себя тем Арсением, тридцатилетней давности — немного наивным, нараспашку открытым миру в целом и каждому человеку в отдельности.

Сзади кто-то кашлянул.

— Русский писатель черпает вдохновение в «сержантской» — неплохое название для статьи.

Арсений обернулся. Память его была устроена необычно. Он действительно на следующий день после приготовления манной каши забывал, сколько манки и сахара надо сыпать в кипящее молоко. Но лиц людей, с которыми общался не забывал никогда. Вот и сейчас, впервые глянув на подошедшего к нему человека, у Арсения словно включился бортовой компьютер: «Интеллигент, за пятьдесят, волосы седым ежиком, очки не в модной оправе, в глазах усмешка, голос с хрипотцой». Все — теперь незнакомец, — пока незнакомец, — в «базе данных» писателя навсегда.

— Плохое. Длинновато будет. Да и желтизной отдает.

— Ваш вариант?

— В «сержантскую» за вдохновением. Кстати, а почему — «сержантская»?

— Да кто ж ее знает, Арсений Васильевич. Сколько она стоит, родимая, столько ее так и называют.

По закону жанра Арсений должен был удивиться тому, что незнакомец называет его по имени-отчеству, но он не доставил тому такой радости и сказал совсем другое:

— А в моем родном городе подобное заведение называли изысканнее: «рюмочная».

— Но у нас оригинальнее, согласитесь. Сколько по Руси было «рюмочных», а «сержантская» — она одна. — И почти без паузы:

— Позвольте порекомендовать вам, Арсений Васильевич, вон ту бутылочку?

— Ту?

— Именно, ту, что смотрит на вас справа.

— На меня? А мне кажется на вас.

— Согласен на компромисс: смотрит на нас двоих. Нашего областного завода, еще не успели сильно избаловаться — качество отменное.

— Вы не поверите...

— Владимир, Владимир Олегович, но лучше просто Владимир.

— Очень приятно. Арсений Васильевич, лучше просто Арсений.

Они, не подавая друг другу руки церемонно раскланялись. Продавщица удивленно посмотрела на них: в самом деле, здесь эти поклоны выглядели странновато. Но будь женщина повнимательнее, она заметил бы, что тот иронический огонек, что святился в глазах незнакомца, как огонек от одной спички к другой, перекинулся в глаза Арсения.

— Так чему я не поверю? Знаете ли, Арсений Васильевич... Арсений, я по сути очень доверчивый человек. Верю всему и всем.

— Тогда поверьте, что я зашел сюда просто из любопытства. Мне, как русскому писателю все интересно. Но, думаю, вам, как журналисту, тоже.

Владимир Олегович удивленно приподнял брови, но не стал спрашивать, откуда собеседнику известна его профессия.

— Значит, просто из любопытства?

— Из-за него, окаянного.

— И сейчас повернетесь и уйдете отсюда?

— Не знаю.

— Хвалю, честный ответ.

Писатель только пожал плечами:

— Какая честность? Бог с вами! Просто слаб — вот и все. Знаете, одна нога у меня уже за порогом, а другая здесь.

— Ваши слова мне любимый анекдот напомнили. Пока находитесь в раздумьях, я расскажу, если не возражаете. Пришел человек вечером домой. Приготовил себе ужин, налил стопочку... глядь, — а хлеба-то нету! Ладно, думает, булочная напротив — схожу: одна нога здесь, другая там... Вышел: по улице трамвай. Ничего, решил, проскочу! И поскользнулся на рельсах. Одна нога здесь, другая там, а голова под уклон катится, — глаза закрываются, а губы шепчут: ни хрена себе, сходил за хлебушком...

Писатель улыбнулся и впервые, с неподдельным интересом, посмотрел на собеседника.

— Какие, право, вы анекдоты рассказываете, Владимир.

— Неужели не смешно?

— Смешно, конечно, но... Расскажи свой любимый анекдот, и я скажу тебе, кто ты.

— И что, вот так возьметесь сказать, кто я? — теперь уже Владимир с интересом смотрел на писателя.

— Не возьмусь.

— Не хватает деталей?

— Вот именно. Но что-то провокаторское в вас, простите, есть.

Владимир Олегович не успел ответить. В их разговор вмешалась продавщица:

— Мужчины, вы сюда что, разговаривать пришли? Идите на улицу разговаривать.

— Клавдия, вы не переживайте так, — миролюбиво улыбнулся Владимир Олегович.

— К вам, товарищ Орлов претензий нет, вы наш, а этот господин пусть определится, что он будет пить, а потом разговаривайте, сколько влезет.

— «Сколько влезет»... Великий и могучий, — вздохнул Арсений Васильевич. — Что ж, это похоже знак. И хоть трамваи в вашем городе не ходят... Короче, господин определился.

— Давно бы так, — одобрила Клавдия.

— Мне кажется, вон та бутылочка смотрит на нас, — Арсений показал на витрину.

— Клавочка, господин писатель хотел сказать, что будучи искушенным мной и вами...

— Чего вы такое говорите, товарищ Орлов? А еще интеллигентный человек, статьи всякие умные пишете. Никого я не искусила, тем более на пару с вами.

— Вы просто чудо, Клавочка... Понимаете, быть искушенным... Тьфу ты, сам запутался. А ведь действительно — великий и могучий...

— Вы о себе что ли? — усмехнулась Клавдия.

— Я о русском языке, милая...

* * *

Только когда содержимое бутылки уменьшилось более чем на половину, Орлов сказал писателю:

— А ведь вы первый, кто догадался, что анекдот не без провокаторского душка. Но, надеюсь, все-таки, что называя меня провокатором, вы не считаете меня подобием попа Гапона. Я вообще не люблю попов.

— Это видно, — спокойно ответил Арсений, — какой толстовец любит, как вы сказали попов.

— А откуда вы знаете, что я — толстовец? Да, кстати, и что я журналист — откуда знаете?

— Сколько вопросов... С какого начать? Пожалуй, начну с последнего. То, что вы журналист — у вас на лице написано...

— Что, так вот прямо и написано?

— Ну да. Плюс детали. Мы не были знакомы, а вы знали, кто я. Следовательно, читали газету о встрече в библиотеке. Читали внимательно, ежели на таком фото смогли меня разглядеть. Что еще? На подушечках пальцев у вас небольшие мозоли. Наверное, лет двадцать, пока не появился компьютер, на пишущей машинке стучали. Ну и наконец, из кармана вашего пальто торчит три или четыре номера районной газеты. Вряд ли купили. Взяли из редакции для себя и знакомых.

— Хм, неплохо, Арсений Васильевич...

— Бросьте, это правда — пустяки. Пойдем дальше. Я же не сказал: «провокатор». «Что-то провокаторское» — это немного другое.

— Вот именно...

И пошел у них разговор, который можно было бы назвать философским, а можно — интеллигентским трепом. Все зависит от точки зрения на предмет. Когда они допивали вторую бутылку, начинавший потихоньку сходить Орлов полез в свой издавший виды портфель.

— Вот, смотри...

— Куда смотри?

— Вот на эти листы. Я же ведь тоже... как его...

— Писатель...

— Именно. Здесь — Владимир Олегович положил рукопись на стол, отодвинув в сторону стакан и закуску, — книга. Моя книга. Напечатать — без проблем.

— Так напечатай.

— А кому она нужна? Думаешь, твои книги кому-нибудь нужны?

— Надеюсь на это, Владимир Олегович.

— Просто Владимир. Я же просил... И зря надеешься. Посмотри вокруг. Да не туда, а вообще, вокруг. Что нынешним людям надо? Правильно — то же, что и всегда: хлеба и зрелищ. Хлеб, слава Богу, есть, у кого с маслом, правда, у кого без, а зрелища — сколько угодно. Включай вечером ящик — и наслаждайся. А чтобы мою книгу прочитать — это ж думать надо.

— Думать всегда надо.

— Брось. Наш человек предпочитает, чтобы за него думали. Ведь думать, значит нести ответственность. А нести ответственность — это значит жить, а не существовать. Вот ведь какая обратная зависимость... Короче, ошибся Некрасов...

— Ты про то, что мужик с базара не Белинского и Гоголя понесет, а что-то совсем другое?

— Молодца, слета. Именно. И если даже понесут книгу...

— То не Орлова.

— Верно. Совсем других понесут, тех, кто про «пиф-паф» и о счастливой любви пишет. Что на это скажешь? Будешь спорить?

— Отнюдь.

— Отнюдь — да, или отнюдь нет? — улыбнулся Орлов. Он разлил по стаканам последнюю водку.

— Ну что, за знакомство?

— Уже пили.

— Тогда просто — будем!

— Будем, совершенно искренне ответил Арсений.

В кафе остались они одни.

— В твоих словах, Владимир, много горькой правды. Но для начала ты книгу-то издай. А когда издашь, я у тебя ее приобрету. Потом кто-то еще.

— Ну и что из этого?

— А разве этого мало?

— Да вообще-то мало.

Арсений улыбнулся.

— Тогда определись, чего хочешь: известности или того, чтобы тебя услышали.

— Одно другому не мешает.

— А мне кажется, наоборот — мешает.

— Что ж, ловлю вас на слове. Возьмите мою рукопись. Когда прочтете, предлагаю встретиться. Вот здесь же. Тогда и продолжим разговор...

* * *

Арсений возвращался в монастырь на удивление почти трезвым. С ним такое бывало. Иной раз он мог запьянеть с одной бутылки пива, а в другой выпить бутылку водки и остаться трезвым. Новому знакомству Арсений был рад. Он вообще считал каждую новую встречу — подарком от Бога, имеющим для него, Арсения Васильевича Покровского, свой особый смысл. И то, что встреча с Орловым — не случайна, это для него было ясно. А вот самим разговором Арсений остался недоволен. Точнее, окончанием разговора. Нет, слова-то были правильные и он не лукавил, произнося их. Но, во-первых, он, как ему показалось, опять сбился на менторский тон. А во-вторых, что хуже всего, сам-то он живет по-другому. Переживает за тиражи, переживает за то, чтобы его книги лучше покупали, переживает за то, чтобы о них больше писали критики... Вот в этом переживании и было что-то мелкое, суетливое, что угнетало душу. Получалось, легко истину глаголить другим, а вот самому жить по ней...

* * *

Очнувшись от раздумий, Арсений понял, что идет по незнакомой улице. Видимо, прошел мимо нужного поворота. С трудом прочитанное сквозь сумрак на табличке «улица Каинского» ничего ему не давало — город он знал по-прежнему не очень хорошо. Повернуть назад или двигаться вперед, с надеждой, что в Энске тоже все дороги ведут в храм? Совершенно неожиданно его злосчастная правая нога привычно сложилась, все тот же хруст — и вот он валится на землю.

— Вам, наверное, очень больно, если вы так ругаетесь? Вам это зачтут как смягчающее обстоятельство, — услышал Покровский откуда-то сверху. Сначала он увидел ноги в теплых сапожках, а затем уже и их обладательницу, девушку лет шестнадцати. Она стояла за невысоким забором, окружавшим старинной постройки двухэтажный дом. Получилось так, что свалился Арсений прямо к ее ногам. Кряхтя, как старый дед, он сделал попытку подняться. Как оказалось неудачную: только он выпрямился в полный рост и наступил на правую ногу, как все повторилось.

— Ой, блин!

— Уже лучше, — прокомментировала девочка, а затем добавила:

— Не вставайте, дядя, я сейчас вам трость принесу.

Покровского, ставшего на четвереньки, разобрал смех. Десять минут назад он парил в

эмпириях, цитировал великих, а сейчас стоит, как собака у забора на четырех конечностях, чувствуя вот уже который раз за последнее время свою полную беспомощность.

Он подполз к забору вплотную и вновь постарался подняться. На этот раз более удачно. Но наступить на больную ногу Арсений не решался, так и стоял на одной ноге, обхватив забор руками. Только сейчас он заметил кресло-качалку с накинутым на него пледом. Кресло стояло, окруженное несколькими деревцами. Пара вишен, яблонька, куст сирени — вот и весь садик. Нет, не весь — почти у стены дома наблюдательный Арсений разглядел куст бузины. И он забыл о боли. Вновь возникло чувство, что это уже было с ним. Бузина стояла голая, от этого казавшаяся какой-то сиротливой и одинокой среди других деревьев. Но взгляд Арсения, как магнитом, притягивали красные гроздья мелких ягод. Куда им до рябиновых, но было что-то трогательное в этой украшенной наготы. А еще будто что-то древнее, давно забытое поднималось из глубины подсознания...

— Что ты ищешь? — вернул Арсения женский голос, раздавшийся в доме. Где-то его он уже слышал... — Наташа, кому я говорю? И перестань так быстро ходить, тебе нельзя.

— Я не летаю, Лена, а еле ползаю. А ищу трость.

— Какую? Дедушкину?

— Ну да, какую же еще?

— Зачем, Наташа, тебе трость?

— Не мне, там человек на улице упал, подняться не может.

— А если он просто пьяный?

— А что, пьяные разве не люди?

— Гуманистка ты наша... Ладно, пойдем посмотрим твою лодь.

— Сначала трость найди.

— Сначала посмотрю.

Двое разговаривали в приоткрытой террасе, потому и было хорошо слышно все, о чем они говорили. Покровскому стало неудобно — будто стоял и подслушивал. Уйти бы, да получится ли? И в какую сторону идти?

Скрипнула дверь. Первой вышла девочка, а за ней... Несмотря на сумерки, он сразу узнал ее. Та самая незнакомка, которой он подписывал книгу в библиотеке. Значит, ее зовут Леной... Почему-то, впервые за много лет, Покровский почувствовал, что стесняется. Стесняется предстать перед ней в таком беспомощном виде, стесняется показаться ей смешным... Резко повернулся — была не была! — шаг, второй...

— Блин!

— Жаль, вы остаетесь пока на месте, — резюмировала девушка.

— В каком смысле? — смирившийся Арсений решил сидеть на земле и не дергаться. Спросил, чтобы просто что-то сказать.

— Во всех.

— Тогда что я должен кричать в таком случае?

— Не кричать, а сказать спокойно...

— Спокойно?

— Да, спокойно и с благодарностью: «Спасибо Тебе, Господи, за все».

— Сама не пробовала?

— Она говорит это каждый день, — наконец и спутница девочки вступила в разговор. Обе уже вышли на улицу и подошли к Покровскому, который угнул голову вниз, стараясь быть неузнанным.

— Что с вами случилось, Арсений Васильевич? — спросила женщина, наклоняясь над писателем.

— Лена, ты хочешь сказать...

— Да, солнышко, это твой любимый писатель.

Пока они щебетали, «любимый писатель» принял знакомую позицию на четвереньках, а затем, чертыхаясь, стал подниматься. Да, глупее положения не придумать.

— Давайте я вам помогу, — Елена взяла Арсения под руку, но сразу же отпрянула:

— Фу! Какое амбре. Это надо же так, простите, нализаться.

— Это совсем не то, что вы подумали. Я не пьян.

— Да ну? Это вы Наташке расскажите.

— Слушайте, не верите — ваше право. Скажите, в какой стороне монастырь и я пойду.

— А сможете?

— Не смогу — поползу. До утра, надеюсь, доползу.

— Если будете шустро ползти — уже к полуночи будете на месте. Представляю, как вам будет рада матушка.

Пока мужчина и женщина общались таким образом, девушка молча с распахнутыми глазами смотрела на писателя. Не сговариваясь, Елена и Арсений, повернули головы в ее сторону.

— Сочувствую, дочка: большое видится на расстоянии. К кумирам лучше не приближаться близко. Мой опыт показывает, что разочарование в этом случае неизбежно.

— Лена, что с тобой?

— Со мной ничего. А почему ты спрашиваешь?

— Неужели ты не видишь, что ему больно?

— Спасибо тебе, девочка. Даже находясь на четвереньках приятно встретить человека, а не людь.

Лена промолчала. В наступившей темноте Покровский увидел, как вспыхнуло ее лицо.

— Сейчас я принесу вам трость, — только и сказала.

— Знаете, а я себе таким вас и представляла, — произнесла девочка, когда ушла Лена.

— Смейся, смейся. Я не обижаюсь. Наверное, заслужил.

— Конечно, заслужили. Знаете, почему вы падаете?

— Знаю. Потому что повредил связки.

— И совсем не поэтому.

— Вот как, тебе известна истинная причина?

— Да вы и сами ее знаете, только боитесь самому себе признаться.

— «Какая странная девочка, — подумал Покровский, — мать называет по имени, пытается говорить о вещах, о которых понятия не имеет».

В этот момент Наташа как-то странно посмотрела на Арсения, он даже смутился: ему показалось, что девочка прочитала его мысли. Ерунда какая-то. В дверях дома уже показалась Елена.

— Итак, я часто падаю потому...

— Потому что перестали идти вперед.

— Вот как? А что же я делаю?

— Топчитесь на одном месте. Там этого не любят.

— Где это — там? — Покровский упорно продолжал притворяться непонимающим.

— Там же, где слышат каждое ваше слово.

Подошла мама девочки. В руках она держала очень красивую трость.

— Вот, возьмите. Вернете, когда перестанете падать.

* * *

Где-то за час Арсений доковылял до монастыря. У него были свои ключи от кельи. Стараясь не шуметь, тихо поднялся к себе. Спать не хотелось, зато захотелось побыстрее взять ручку, чистый лист бумаги и приняться за работу. Право, хороший был день. Странный журналист, странная девочка Наташа, странная женщина Лена.

Впрочем, для них он, наверное, тоже странный. Но сейчас, этим поздним вечером, писатель думал не о встречах, которые сегодня ему были подарены Богом. Перед глазами стоял куст бузины. Покровский долго не открывал их, со стороны могло показаться, что он уже спит. Так прошло около часа. Затем он вздрогнул, словно очнувшись от наваждения. Но если бы кто

увидел глаза писателя в этот момент, то понял бы, что он находится сейчас не здесь, в маленькой келье, а где-то далеко-далеко.

Арсений взял ручку, чистый лист — и начал работать.

* * *

К реальности его вернул стук в дверь. Мгновение спустя перед ним стоял отец Леонид. За эти дни они встречались всего лишь пару раз, но Покровский сразу же почувствовал симпатию к этому никогда не унывающему человеку. Широкоплечий, с простым крестьянским лицом, с большими руками, не привыкшими бояться любой работы — разве таким в пору своего прихода к вере, представлялся писателю идеальный священник? В пятнадцати километрах от Энска, в селе Троица, где жила его семья — матушка Галина и пятеро детей, у отца Леонида был свой приход. А еще он служил здесь, ездил по требам в самые глухие места района. Слышал писатель, что батюшка окормлял какую-то тюрьму... Одним словом, его старенькую зеленую «Ниву» можно было увидеть в течении суток где угодно. Следовательно, сейчас она стояла у монастырских ворот.

— Здравствовать вам, Арсений Васильевич! Уже за работой? Похвально!

Покровский хотел сказать, что он еще не ложился, но промолчал. Получилось бы, что напрашивается на похвалу.

— И вам здравствовать, отец Леонид.

— Собирайтесь, поедem.

— Куда? — удивился Арсений, потом поправился и переспросил так как всегда учили родители: — Далеко? — они с батюшкой ни о чем не договаривались.

— В тюрьму. Нам туда самое время.

Шутит? В глазах веселые искорки — доволен произведенным эффектом, но вроде бы серьезен.

— Вы уже созрели, Арсений Васильевич.

— Считаете?

— Ну да, я к вам присматривался... Вначале мне показалось... впрочем это не важно.

«А почему он так уверен, что я брошу все и поеду в какую-то тюрьму?» — подумал Покровский, но потом сам же устыдился своей мысли. Разве, и в самом деле, может он отказать этому человеку?

Арсений собрался быстро. Из всех вещей взял только листки с недописанным рассказом, — он еще не успел его перечитать и решил сделать это по дороге. Однако сделать этого не получилось. Отец Леонид устроил ему небольшой инструктаж.

— Режим в тюрьме очень строгий, Арсений Васильевич. Люди, как они сами говорят, мотают большие сроки. Поэтому такие встречи можно устраивать только в выходные дни. А с другой стороны, у нас сейчас демократия. Придут только те, кто захочет — они вольны распоряжаться своим временем, как им заблагорассудится. Насильно никого не поведут. Книги ваши читали, но пока немногие. Поэтому не обессудьте: кто придет, тот и придет. Как вы на это смотрите?

— Нормально смотрю. Правда, никогда еще не выступал в тюрьмах.

— А в тюрьмах тоже люди, Арсений Васильевич. Как наш народ говорит: от тюрьмы да от сумы не зарекайся...

Они помолчали. Каждый думал о своем. Наконец отец Леонид вновь заговорил.

— О чем бишь я? Да, там такие судьбы — о каждом можно роман написать. У меня с чего там все началось? Звонит как-то начальник тюрьмы, славный я вам скажу дядька, и говорит, мол, мои желают, чтобы было место, где помолиться можно. Как, спрашивает, отец Леонид, насчет храма? О деньгах не беспокойтесь. Я ему отвечаю, что деньги — это не главное. С храмом нужно поговорить, а начать надо с простой молельной комнаты. А уж там, как Господь судит. Ну вот так и образовалась группа человек в пятнадцать. Нам выделили место, они там почти все своими руками сделали. Им-то я книги ваши и привез. Когда узнали, что вы сейчас в Энске — попросили о встрече.

— А вы мне сказали...

— Совершенно верно. Каким-то вы мне по приезду показались...

Чувствовалось, что священник ищет нужное слово, дабы не обидеть собеседника.

— Говорите смело, я не обижусь.

— Одним словом, не такой как в книге.

— Но ведь книга не про меня...

И вновь в глазах отца Леонида засверкали веселые искорки.

— А то про кого же? Я думаю, что любой писатель в первую очередь про себя и пишет. Разве не так? Вот, нашел! — воскликнул он радостно. — Взъерошенный! При первой встрече вы мне именно таким и показались. Знаете, как бывает? Не сидится человеку, то он на одно место сядет, то на другое, то вскочит, то побежит. Все торопится куда-то, а куда — не знает. Будто ищет чего-то, а что...

— Тоже не знает, — грустно улыбнулся писатель. — Все так.

— Нет, сейчас вы явно в себя приходите.

— Только начинаю, батюшка.

— А как в вашей книге написано: путь в тысячу километров начинается с первого шага.

— Вообще-то это сказали древние китайцы...

— А не важно. На мудрую мысль авторского права нет. Я ее у вас прочитал.

— Эх, мне бы не только писать мудро, но и самому так жить... Тут вчера буквально на улице девушку повстречал. Знаете, что она мне «мудрому», сказала?

— И что же?

— Я перед их домом на четыре кости, простите, грохнулся... Кстати, а где она?

— Да кто?

— Трость? Вчера еле до монастыря дошел, если бы не трость, которую они мне дали... Надо же, забыл!

— Арсений Васильевич, ничего не понимаю.

— Где-то с месяц я связки на ноге повредил. Ходить можно, но только забудусь и перенесу вес на одну ногу, то валюсь сразу же на землю, как куль с мукой. Вот и вчера, возвращаюсь из... Короче, возвращаюсь поздно вечером и у одного из домов совершенно уже привычный акробатический этюд, а совершенно случайно неподалеку в садике...

— Вы же сами пишете: кто верит в случайности, тот не верит в Бога. Не случайно, значит.

— Значит, не случайно, батюшка, девочка там была. Одним словом, познакомились мы. Вот она мне и выдала: вы, говорит, часто падаете потому, что перестали идти вперед.

— Так и сказала?

— Да.

— Ай, молодец! Вы знаете, Арсений Васильевич, как в старой армии называли солдат?

— Знаю. Этими, как их — шпицрутенами.

— Ставили солдата в полной боевой выкладке, с ружьем и приказывали стоять по стойке смирно несколько часов. И стоял солдатик до тех пор, покуда не падал, как подкошенный...

— Как подкошенный, — чуть слышно повторил Покровский. Затем резко повернулся к отцу Леониду:

— Значит, все последнее время я стоял на месте?

В этот момент машина подъехала к массивным железным воротам. Священник сначала выключил мотор, взял свой портфель, а затем ответил писателю словами, которые тот уже слышал:

— Да вы и сами все прекрасно понимаете.

* * *

Через полчаса Покровский уже стоял перед сотней мужчин, одетых в одинаковые одежды. Актный зал был заполнен чуть меньше, чем наполовину. Арсений даже немного обиделся на батюшку: он ожидал от того каких-то вступительных слов, пока его собственные мысли придут в порядок. А отец Леонид только и сказал: «Ну, вот вам и обещанная встреча», а затем сел, но не рядом с писателем и не со всеми вместе, а чуть в сторонке, словно желая видеть и зал, и выступавшего. Впрочем, в тот момент Арсений не придавал этому значения. Ему хотелось начать с чего-то умного и проникновенного, но в голову ничего не приходило. Посмотрел на священника — тот ободряюще улыбнулся. Потом поклонился: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» Обвел взглядом зал. Улыбнулся.

— Здравствуйте!

Ему ответил нестройный гул голосов:

— Здравствуйте!

Писатель продолжил:

— Вы меня извините, я немного волнуюсь: первый раз в тюрьме.

Скрытую шутку оценили. По залу прошел смешок. Для Покровского это было очень важно. Он пришел не развлекать этих людей, а говорить на серьезные темы. Но это возможно только в том случае, если чужое сердце открыто для твоего. Ежели нет — самые проникновенные, самые умные слова останутся шелухой. По своему опыту Арсений знал, что ничто так не помогает налаживанию контакта между людьми, как улыбка и добрая шутка. Нет, он не лукавил душой, не «пристегивал» на лицо дежурную улыбку. Просто в этот момент ему вспомнилась одна история. Была ли она на самом деле, нет ли — Бог ведает, но только сейчас писатель по-настоящему оценил ее. А что если начать с нее? И он стал рассказывать:

— Однажды один известный автор-исполнитель, по-другому — бард, назовем его Олегом, приехал с шефским концертом в тюрьму. Концерт получился на славу. Певца тепло принимали, дружно и горячо аплодировали. А закончить выступление он решил самой известной песней. Песня и в самом деле просто замечательная. Наверное, многие из вас хорошо знают ее. И Олег запел. Первая строка, вторая, а затем припев. И вот представьте себе: переполненный зал, внимающий каждому слову, каждой ноте барда, расчувствовавшийся от успеха Олег, который поет столько раз уже пропетое им: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»... Вы представляете, какова была реакция зала?

Зал представил и очень наглядно. Покровский интуитивно почувствовал, что зажатость, настороженность, с которой встретили его местные обитатели, проходят, если уже не прошли. Оставалось логически закончить выступление:

— Так вот и я, дорогие друзья, человек увлеченный, а точнее, увлекающийся. Если вдруг меня занесет куда-то, дайте знать — не обижусь. Наскучит — знаю, что у вас сегодня выходной день, — смело уходите...

— Что, не обидитесь?

— Нет, — ответил писатель. Затем вновь улыбнулся: — Ну если только самую малость. Что ж, начнем.

Он стал рассказывать то, что рассказывал в тех аудиториях, где был уверен, что его поймут. О детстве, в котором были месяцы и годы больничных палат, но были и добрые люди, и книги, благодаря которым маленький Арсений совершал путешествия с отважными первопроходцами на край земли, вместе с капитаном Немо опускался на дно океана, а с Шерлоком Холмсом помогал людям, попавшим в беду. Покровскому казалось, что люди, волею судеб оказавшиеся здесь, должны понять его. И вдруг он видит: встает и уходит один человек, за ним второй, третий... Но не прошло и пяти минут, как они вернулись, но не одни — с ними пришли другие заключенные и вскоре актовый зал был уже полон. Потом ему рассказали, что в отрядах возникла договоренность: если встреча с приезжим писателем будет интересной, специальные вестники дадут об этом знать тем, кто на встречу не пошел.

Наверное, это была одна из самых лучших встреч Арсения с читателями за последние годы. Что греха таить, очень часто он говорил будто по заранее заученной роли. Знал, где нужно рассмешить, где заставить слушателя замереть от напряжения. И эта расчетливая рассудочность, словно нож мясника, расчлняла его душу, превращая общение, диалог с читателем, которым он ранее так дорожил, в банальный «эстрадный концерт». Нет, потом

люди подходили, благодарили, восхищались, но сам Арсений чувствовал, что делает что-то не так.

А вот сегодня все было по-другому. Нет, дело не в словах, что он говорил. Права та незнакомая девочка, прав отец Леонид: он не должен стоять на месте. Пусть маленький шагок, но — вперед! И если Господь привел его сюда, к этим людям, то не денег же ради, которых ему никто не предлагал, не ради тщеславного самолюбования — перед таким народом тщеславиться бесполезно. Арсений смотрел в глаза этих людей и чувствовал, что хоть чуть-чуть сфальшивь он, хоть немного пококетничай красивой, но пустой фразой — и вот этот контакт, это идущее к нему человеческое тепло исчезнет...

Вдруг дверь открылась и в актовый зал вошел он. Сухопарый, чуть выше среднего роста. Снял кепку и уверенно направился к передним рядам. По залу прошел шумок. Покровский сделал паузу, давая человеку усесться, что тот сделал с невозмутимым спокойствием и чувством собственного достоинства. А сел он в первом ряду, как раз напротив Арсения. Они встретились взглядами, писатель и незнакомец. Покровский никогда не видел таких глаз. Не глаза, а два буравчика, которые сверлят все, что попадает у них на пути. Сейчас «попался» писатель. Человек закинул ногу на ногу, скрестил на груди руки... Первым отвел взгляд Арсений. Он пытался продолжить свой рассказ, но все его вдохновение, высокое эмоциональное напряжение, куда-то вмиг улетучились. Так лошадь, доселе резво бежавшая, начинает спотыкаться на каждой кочке. Покровский стал сбиваться, мысль путалась: он уже забыл, к чему подводил слушателей. Вновь посмотрел на незнакомца. Они смотрели прямо на него — глаза пришедшего. В их свинцовой серости было что-то нечеловечески холодное, злое — и одновременно притягательное. Эти глаза заставляли смотреть на себя. А их обладатель, ощущая собственную силу, внимал говорившему с едва уловимой усмешкой.

«Ах, ты так»... Арсений рассердился не на шутку. «Я сейчас покажу тебе... надо только собраться»... Но ничего по-прежнему не получалось. Еще немного — и в пору будет заканчивать выступление. А может, так и сделать? Нет, так нельзя — оборвать рассказ на полуслове... Странно, но в эти минуты Покровский забыл об отце Леониде. И вот, словно спасаясь от взгляда незнакомца, Арсений обернулся в сторону священника. И сразу же ему стало ясно: отец Леонид, наверное, единственный из зала, понимает, что сейчас происходит. И не просто понимает... Отец Леонид улыбнулся Покровскому и сказал чуть слышно:

— У вас еще есть время.

Арсений улыбнулся в ответ и ответил всего одним словом, которое так любил в детстве:

— Здорово!

— Вы знаете, — это уже он обращался к залу, — когда я выступаю где-то в первый раз, то стараюсь закончить свою встречу одной историей. Будем считать, что это традиция такая. Уже не помню, когда она родилась. Меня спросили, не страшно ли было одному в такие смутные времена путешествовать по России, ведь вокруг столько много жестокости. Не знаю почему, но вместо того, чтобы ответить просто, мол, страшно не было, более того, Господь и Николай Угодник так видно берегли меня в дороге, что в пути я не встретил ни одного плохого человека...

— Одни хорошие что ль? — выкрикнул кто-то из задних рядов. — Врите, да не заливайте.

Раздался смех.

— Я же сказал: берегли меня...

Покровский не успел закончить фразу. Он увидел поднимающуюся руку.

— Можно спросить?

— Конечно.

— А я вот читал в вашей книге, как главного героя один председатель колхоза поздним вечером из села выгнал. Испугался, что журналист все его безобразия увидит. — Чувствовалось, что мужчина, задававший вопрос волновался, — он беспрестанно мял в руках шапку. — И что, этот председатель — хороший человек?

— Как зовут вас?

— Ну, Виталий.

— Виталий, отвечу, как думаю. Каждая встреча на нашем пути имеет свой смысл. Выходит, мне нужно было встретиться с тем председателем. Разумеется, по отношению ко мне он поступил нехорошо. Но следует ли из этого, что он плохой человек?

— А разве нет?

— А по мне — просто несчастный. Это же надо — жить с таким страхом в душе, что приходится бояться даже случайных путников.

— Но если следовать вашей логики, — не унимался мужчина, — вы для него не были случайным странником.

— Совершенно верно. Как и он мне, так и я ему был для чего-то послан. Поэтому мне искренне жаль его: судьбу человека определяют его поступки. Так я думаю... Но сейчас позвольте мне докончить свою предыдущую мысль. Однажды я вместо всех этих рассуждений взял да и рассказал об одной семье, с которой Господь свел меня во время моего пути. Расскажу и вам. Было это в 1995 году. Шел я по Воронежской области. Места там в основном степные, но попадаются и довольно приличные лесные массивы. Один назывался довольно своеобразно — Хренов лес. Вот в нем-то я и оказался однажды поздним вечером. Дорога безлюдная, до ближайшего населенного пункта еще идти и идти. И вдруг вижу — чуть в стороне от дороги поляна, а на ней огонек горит. Станный такой огонек: на костер не похож, на фонарь тоже. Но если огонек — значит, люди. А где люди — там ночлег, думаю я и иду на огонек. Подхожу ближе, а передо мной то ли дом, то ли сарай. Нет, вроде дом, только крыши нет, а вместо нее что-то постелено — солома, доски... В одном окошке свет от керосиновой лампы — электричества, понятно, нет. Стучусь. Выходит молодой человек, мой ровесник. Извините, говорю, что беспокою. Путник я, заплутал немного. Может, приютите на одну ночь?

А он так обрадовался, будто я его друг или родственник. Зачем извиняетесь, спрашивает. Сейчас чайку организуем. Только мои девчонки спать укладываются, давайте мы пока у дома на скамеечке посидим, пообщаемся. А то мы редко людей видим.

Стали разговаривать. Оказалось — семья переселенцев. Родились и выросли в Киргизии, считали ее своей родиной. Но наступили девяностые годы. На своей шкуре — это были дословные слова Александра, моего нового знакомого, узнали, что такое национализм. Последней каплей стало известие, что для поступления в институт необходимо сдавать экзамены на киргизском языке. А они, всю свою жизнь прожив во Фрунзе, умудрялись обходиться русским языком. Александр и Ольга, его жена, решили, что без высшего образования их дети, Олеся и Ирочка, не должны остаться. Выход был только один —

перебираться на историческую родину, в Россию. Так они и сделали, оставив во Фрунзе практически все, включая квартиру. Только родина их, увы, не ждала. Денег хватило на то, чтобы купить вот этот домишко, да старенькую «шестерку», — Олеся пошла в десятый класс, а до ближайшей школы десять километров. Через два месяца пойдет в первый класс Ирочка. Так что без машины просто нельзя. А вот работы Александру найти не удалось. Попробовали ходить по кабинетам в поисках каких-нибудь субсидий, но чиновники говорили прямо в лицо, не стесняясь: «А кто вас ждал здесь? Своим помочь не можем, а тут вы»...

Чтобы прокормить семью, Александр готов был браться за все, что угодно. И вот однажды подъезжают к их дому крутые ребята на крутой машине. Вышли, посмотрели вокруг: «Слушай, мужик, а у тебя здесь красота. Озерцо какое замечательное. Не хочешь в бизнесе поучаствовать? Мы тебе гусей и уток привезем, для них здесь раздолье, а приход будем пополам делить». Александр был счастлив, тем более никакой работы он не боялся. На последние деньги купил колючей проволоки, обнес ею озеро, туда запустили птицу. Откуда ему, городскому жителю, было знать, что для обитающих в Хреновом лесу лисиц и хорьков его колючая проволока не преграда? А сарая он не успел построить... Теперь Александр в долгах как в шелках, — я почти слово в слово повторил его рассказ. Но, чувствовалось, что духом этот человек не пал. Мы сидели в двух шагах от этого злосчастного озера, вокруг грозно темнела стена леса, а над головой сияли огромные звезды. Кричала ночная птица, я устал и очень хотел спать, но перебивать Александра не решился: кто знает, может человек впервые за долгое время перед кем-то облегчает душу? Он курил, рассказывал о своем горьком житье-бытье, а я думал: вот вековой лес вокруг, вечные и недостижимые звезды над головой, а вот — маленький человек, никому с его близкими не нужный — ни государству, ни людям, ни вот этому лесу и звездам. Что я могу сделать для него, для Олеси и маленькой Иришки? Ничего. Только пожалеть их. А что пользы им от моей жалости?

Утром я проснулся от знакомого с детства замечательного запаха. Пахло домашними блинами. Спал я на русской печи, открываю глаза и вижу следующую картину: земляной пол, посередине единственной комнаты — стол, на столе возвышается золотистая гора блинов. Ирочка спит рядом со мной, а все остальные члены семьи хлопочут вокруг стола. Ольга, не жалея, поливает каждый новый блин маслом, посыпает песком. Пока я все это созерцал, проснулась и младшая дочь Лебедевых. Похоже, Ира была в самом настоящем шоке. Она, не моргая, смотрела на эту гору блинов, а потом закричала:

— Папа! Мама! Вы что, с ума сошли?

— Ты что кричишь, дочка? Человека разбудишь, — спокойно ответил ей отец. Мне вообще показалось, что он не способен никогда повышать голос.

— Я уже проснулся, — отвечаю. — Все нормально.

— Да что ж тут нормального, — Ирочка удивленно уставилась на меня: леглась она спать одна, а проснулась — рядом чужой дядька лежит. — Они с ума сошли!

— Что ты такое говоришь? — Ольга укоризненно посмотрела на дочь.

— А то и говорю, — пищала взлохмаченная кроха, — вы мне блинчики обещали на день рождения испечь. Обещали? А разве сегодня мой день рождения?

Меня как кипятком окатили. К горлу подкатил комок. Я все понял. Бедность в семье была такая, что любимое блюдо ребенка эти люди могли позволить приготовить себе только по большим праздникам. Я сразу представил, как они копили и берегли муку, масло, сахар. И вот

приходит совершенно чужой человек, приходит, чтобы переночевав одну ночь, уйти отсюда навсегда. А они...

— Слушайте, ребята, — говорю им, — у меня нет проблем с деньгами, через два часа я буду в Боброве, там спокойно поем — всего, чего захочу. А вы сделайте себе праздник. Порадуйте детей, а я... Я не буду есть блины.

Пока этот спич произносился, мои хозяева как-то посмурнели. Ольга смущенно теребит фартук, а Александр... Посмотрел он на меня и говорит:

— Жаль.

— Да чего вам жаль, — не унимаюсь я, — детям больше достанется.

— Жаль, — повторяет он, собаке все это отдавать.

— Зачем же собаке?

— И вправду не понимаете?

— Не понимаю.

— Арсений, вы первый гость в нашем доме. Праздник нам принесли. Да, разносолов у нас нет. Да, бедные мы, сами все видите, — и он показал рукой на комнату, — но эти блины они... они от всего сердца. Разве вы поступили бы не так?

...Мы долго и шумно пировали. Я рассказывал самые забавные случаи, что происходили со мной во время странствий. Ирочка опять пицала, на этот раз от удовольствия. Олеся смотрела на меня восторженными глазами. Ольга постоянно заботилась о том, чтобы моя тарелка не была пуста.

А потом мы долго прощались. Вся семья вышла проводить меня. До большака мне нужно было идти полевой тропинкой, я оборачивался, а они все стояли и махали руками мне вслед. Я тоже махал: «Ребята, идите домой», а они все стояли.

Много лет прошло с тех пор. Не знаю, что стало с ними, Александром, Ольгой, Олесей, Ирочкой Лебедевymi. Я совсем не случайно называю вам их имена и фамилию. Они — настоящие. И в своей книге, а я написал о них, ибо это то единственное, что мог сделать, не стал ничего менять, хотя обычно фамилии для своих героев придумываю новые. И с тех пор для меня Россия — это Лебедевы.

Писатель хотел сказать что-то еще, но вдруг замолчал, только досадливо махнул рукой. Воспоминания всколыхнули сердце, ему действительно стало досадно от того, что опять не хватило тех — самых нужных, самых пронзительных — слов. В зале стояла мертвая тишина. Арсений поднял голову и вновь встретился глазами с незнакомцем. Писатель даже вздрогнул. Теперь на него глядели глаза человека! Исчезла ухмылка, погас звериный блеск в зрачках. Более того, Покровский был готов поклясться, что увидел капельку влаги в этих глазах. Незнакомец тоже вздрогнул. Показалось, что он даже засмутился. Быстро встал, поклонился Арсению, — низко, но не церемонно, — и молча, вышел из помещения., сопровождаемый сотнями удивленных глаз.

Растерянный Арсений повернулся к отцу Леониду. Священник просто светился от счастья. «Так вот зачем он привез меня сюда», — подумал писатель.

* * *

— Так вот зачем вы привезли меня сюда, отец Леонид? Ох, хитрый вы...

— Да какой я хитрый? Посмотрите — весь, как на ладони. — Он продолжал сиять и улыбаться.

— Вы не представляете, Арсений Васильевич, — продолжил священник, — какие мы с вами счастливые люди. Господь сподобил нас такое чудо лицезреть...

Покровский сразу понял, о чем идет речь, но слова «сподобил нас» немножко задели его. Будто бы это не он, Арсений Покровский... Впрочем, решил промолчать. И потому, что сил больше не осталось, да и просто хотелось молчать.

— Молодца! — одобрил отец Леонид.

— Вы о чем, батюшка? — удивился писатель.

— Промолчать вовремя — тоже мудрость.

А он действительно, совсем не прост, этот сельский священник с руками крестьянина.

— Меня ведь тоже сильно занимает вся эта цепочка, — продолжил отец Леонид, — помните вы о ней говорили, когда приезжали на встречу к нам первый раз? Я тогда вроде случайно пришел на встречу с вами, — директор библиотеки целую неделю уговаривала придти, решил не обижать хорошего человека. Это как с тем председателем. Вы к нему пришли, значит через вас Господь хотел ему что-то доброе сделать. Но он этого не захотел. Сам. По своей воле. Вы, благодаря тому, что вас выгнали, попали в дом к хорошему человеку, старосте храма. Жаль, что вы сегодня о нем не рассказали. Начала и конца той цепочке нет. Когда-то давно вы были в гостях у Лебедевых, когда-то я пришел к вам на встречу. Сегодня был ваш черед гостевать — в тюрьме. А тот человек. Как вы говорите, он не плохой. Он гордый. Жутко гордый. Или — жуткий и гордый. Его даже начальник тюрьмы боится. Книгу бы вашу ни за что не прочитал. Все ведь читают, значит он не будет. Поскольку особый. На свободе если прожил из своих сорока пяти половину — то хорошо.

— Из каких своих? Сорока пяти? — не поверил своим ушам Покровский.

— Ему сорок пять. А вы сколько думали?

— Как минимум шестьдесят.

— Страсти старят, Арсений Васильевич. Ну, так вот. Я не скрою от вас: надежды было мало, что он придет сегодня. На этот раз его гордость нам на руку сыграла. Как же так: час проходит, другой, а никто не возвращается. Вот тебе и писака.

— Писака?

— Так он вас называл. Мол, все эти писаки одним миром мазаны. А вам ведь несладко поначалу пришлось. Верно?

— Верно.

— Железная воля у человека. Молились? — как-то очень просто спросил отец Леонид.

— Да, — также просто ответил Арсений.

— Теперь вы поняли почему у вас за шестнадцать лет странствий ни один волос с головы не упал?

— Чтобы этот человек пришел ко мне на встречу?

— Зря улыбаетесь, — отец Леонид был абсолютно серьезен, — цепочка продолжается: Лебедевы растопили такое ледяное сердце... Слава тебе, Господи!

Они замолчали. И только тут Покровский заметил, что они едут совсем не в Энск.

— Батюшка, а почему...

— Разве я не сказал? Мы сегодня в Арпачево заночуем.

— Где?

— В Арпачево. Там мой друг живет. Замечательный человек. Артист. Причем, настоящий. Заслуженный. Зовут Георгием Федоровичем Шапошниковым. Не слышали?

— Отец Леонид, вообще-то у меня на сегодняшний вечер были другие планы.

— Когда мы говорим о наших планах, Господу так смешно становится... Я где-то слышал.

— Вы не слишком... того...

— Чего — того?

— Самоуверенны?

— Ничуть. Просто цепочка должна продолжиться. А мы с вами — простые звенья, Арсений Васильевич. Не более того, но и не менее.

* * *

Покровскому показалось, что ехали они бесконечно долго. Мелькали вначале, а затем исчезли в осенних сумерках деревеньки и перелески, а они все ехали и ехали. После вполне понятного эмоционального возбуждения, Арсений почувствовал дикую усталость. Не хотелось никаких гостей, завалиться бы на кровать в ставшей почти родной келье в башне, но отец Леонид решительно вел свою «Ниву» сквозь сумрак, успевая одновременно отвечать на звонки по мобильному телефону, подбадривать дремавшего спутника и рассказывать о человеке, к которому они ехали.

— Артист он был довольно известный. В московских театрах играл. Много по стране поездил с концертной программой, причем, не гнушался и глубинкой. Побывал в нашем Энске и, видимо, прикипел к нему душой, раз переехал сюда, бросив столицу, как только вышел на пенсию. Но поселился не в Энске, а в Арпачево, это самый глухой угол нашего района. Деревня — десять домов. Но зато есть храм, давно брошенный, но такой красивый. Знаете, чьей работы?

Пауза после вопроса затягивалась, а потому Покровский заставил себя спросить:

— Чьей?

— Самого Львова. Представляете?

— А то. Того самого, Николая Александровича? Только он вроде масон был?

— Масон, не масон, а храм на удивление красивый. И представляете, колокольню он так построил, чтобы она не совсем прямо стояла.

— В смысле, как Пизанская башня?

— Угол чуток поменьше будет, но что получилось — впечатляет. Так вот, продолжу. Георгий стал храм восстанавливать. Только Господь знает, чего это ему стоит. Что-то он расскажет сам, что-то поймете сами.

— Уже понимаю. Сами же сказали — деревня в десять домов.

— В четырех — бабули свой век доживают, в трех — спившиеся мужики, в двух оставшихся — дачники. Они ведь, я имею в виду местных, Георгия за дачника приняли. Мол, летом поживет, а осенью отчалит. А он там насовсем остался... Впрочем, хватит разговоров — приехали.

Георгий оказался рыжебородым крепышом, которому можно было дать, как сорок, так и шестьдесят лет. Когда он улыбался, то молодец на глазах, хмурился — также на глазах старел. Георгий встретил их у калитки. С отцом Леонидом они обнялись, Арсению бывший актер крепко пожал руку:

— Очень рад. Наслышан. Кое-что читал.

Домик у Шапошникова был самый обыкновенный, зато к нему они прошли через садик — крошечный прудик, мостик над ним, вокруг несколько камней. «Чего только в России не встретишь — успел подумать Покровский, — в забытом Богом Арпачево — японский сад». Шедший позади отец Леонид довольно хмыкнул, заметив удивление писателя. Знай, мол, наших.

Внутри дом состоял в принципе из одной очень большой комнаты, которую хозяева разделили занавесками на две части: спальню и все остальное. Все остальное было и столовой, и залом, и прихожей. Стол уже был накрыт.

— Не обессудьте, ребята, — сказал Георгий, — чем Бог послал. Я только позавчера из Москвы, жена там осталась. «Чем Бог» оказалось салом, квашеной капустой, картошкой и солеными огурцами.

— Самая русская еда, — отозвался Арсений.

— И питье самое русское, — опять помолодел Георгий, словно фокусник, достав откуда-то бутылку водки.

Потом они помолились и сели трапезничать. Отец Леонид рассказал о встрече в тюрьме, к удивлению Покровского, сделав это одновременно очень образно и в то же время кратко. Сам писатель успел задать Шапошникову пару вопросов. Тот начал было отвечать, как вдруг воскликнул:

— Забыл!

— Что забыл? — удивился отец Леонид, — вроде все на столе есть.

— Про Михаила забыл. Друг это мой. Фермер. Живет неподалеку. Он хотел с тобой, то есть с

вами, пообщаться. Я ему книги ваши давал. Между прочим, всего Фета наизусть знает.

— А почему именно Фета?

— Не знаю, нравится он ему. Человек он такой. Основательный. Если нравится, значит должен знать. Всего. Кстати, у меня коронка была в концерте. Я говорил зрительному залу: называйте мне фамилию любимого поэта. Люди называли — и я читал его стихи. Ни разу промаха не было.

— В чем секрет? — усталость ушла, и Покровскому было по-настоящему интересно здесь.

— Я выучил стихи семисот поэтов, но — по одному стихотворению. Разумеется, чаще просили почитать Рождественского, Вознесенского или Евтушенко, но когда называли, скажем Мустая Карима или Олжаса Сулейманова, я спокойно читал их творения.

— Здорово! — искренне восхитился Арсений.

— Отцы, — вернул их к действительности священник, — вообще-то Георгий про Михаила говорил.

— Точно, — быстро согласился Георгий, — он бы с удовольствием посидел с нами...

— Но сейчас пол двенадцатого ночи, — только и смог ответить Покровский.

— Детское время, — мгновенно отреагировал отец Леонид.

— Детское, — согласился с ним Георгий.

— Ну, если он живет неподалеку...

— Всего шестьдесят километров.

Покровский поперхнулся:

— Сколько?

— Шестьдесят, — с самым невинным видом ответил священник, — у мужика джип... Звони, Георгий, пусть выезжает.

Странно, но Покровскому давно не было так хорошо, как сегодня здесь. Почему странно? В последние годы он привык быть «душой коноплянки», много говорить. А вот сегодня Арсений в основном слушал — и ему было хорошо. Неожиданно в разговоре возникла тема чуда. Впрочем, не совсем неожиданно: Покровского давно мучила история, связанная с захоронением блаженного Петруши, и вот здесь, он решил поделиться своими сомнениями.

— Матушку Евфалию можно понять... — начал отец Леонид.

— Разумеется, батюшка, разумеется, — Арсений поднял руки вверх, будто сдаваясь, — но...

— Отцы, а можно я вам одну историю расскажу. Она всю мою жизнь перевернула. А чудо это или не чудо — судите сами.

— Пусть расскажет? — спросил отец Леонид Покровского.

— Пусть, — улыбнулся в ответ писатель.

— Ну, спасибо, отцы. Мне было тогда... Сколько же мне было? Где-то под сорок. На дворе времена, которые потом назвали застойными. Я жил... Да как все жил: работал, как двуязыльный, пил, погуливал. О смысле жизни, о Боге как-то не задумывался. И вот, после очередной поездки приехал я домой, как всегда — с деньгами, но никакущий. По традиции — отсыпаясь несколько дней. И снится мне вдруг сон. Я иду по кладбищу, то ли сельскому, то ли какому-то старинному. Памятники все основательные, а не те, что был в моде тогда — железные пирамидки со звездами. Я вижу себя ходящим мимо этих могил, читающим надписи на памятниках. И вот подхожу я, который во сне, к очередной могиле и читаю: «Шапошников Георгий Федорович... родился... умер». И тут же просыпаюсь от ужаса: год рождения — мой, а дата кончины — ноябрь того самого года.

— А когда сон приснился? — спросил отец Леонид.

— В январе. То бишь мне оставалось меньше года.

— Ты так понял этот сон?

— А как же еще? Шапошников Георгий Федорович — это же я. Год рождения — тоже мой... Признаюсь, худо мне было. А потом как-то собрался и решил: ну, коли тому суждено быть, что на себе волосы рвать. Но прожить мне хотелось этот год по-человечески. Вы понимаете меня, отцы?

«Отцы» дружно кивнули в ответ. А Шапошников продолжал:

— Раньше я как жил? Дни мелькали, как минуты. Что дни — месяцы пролетали незаметно. А тут — я стал жить. Вы понимаете меня, отцы?

— И у меня такое было, — грустно отозвался Покровский, — и это такое счастье... А вот сейчас... прошло.

— О счастье я тогда не думал. Просто жил, стараясь успеть сделать все, что еще не сделал. Играл спектакли, много ездил по стране с выступлениями, отдал все долги... И наступил ноябрь. Странно, но чувствовал я себя как никогда хорошо. И когда пригласили меня в город Вязьму, я не стал отказываться.

— Хороший город, и люди там хорошие, — не удержался Покровский.

— А это где? — спросил батюшка.

— В Смоленской губернии.

— Точно, Арсений. В Смоленской. Как сейчас помню: там вокзал большой, наш поезд загнали в тупик — кроме нас по какой-то там линии целая делегация приехала. Сказали: часа три можете быть свободными, погуляйте по городу. В Вязьме я до этого не бывал, пошел куда глаза глядят. Буквально. И вдруг вижу — кладбище. Старинное. Храм стоит. Зашел в него, поставил свечку. Потом прошелся по кладбищу. Мраморные надгробия, кресты. Фамилии, имена, какие-то слова, типа, покойся с миром, дорогой супруг и отец. И вдруг... Не поверите, но у меня в глазах потемнело: на одной могиле читаю: «Шапошников Георгий Федорович». А самое главное — годы жизни...

В этот момент Георгий сделал мастерскую паузу. Нет, все-таки бывших актеров не бывает.

— Ну? — только и смогли выдохнуть слушатели.

— Год рождения, год смерти — как в том сне. Но с одной... маленькой поправкой — век был указан не двадцатый, а девятнадцатый.

— То есть...

— Правильно. Не тысячу девятьсот, а тысячу восемьсот. И оказался тот Шапошников каким-то чиновником средней руки. Вот такая история. Хотите, верьте, отцы, хотите, нет.

Отец Леонид перекрестился:

— Слава Тебе Господи, слава Тебе! Вот видите, как господь даже сон на благо для твоей души использовал. Вообще-то, святые отцы советуют со снами быть поосторожней, но в твоём случае, видимо, другого способа, чтобы остановить...

— Да ты говори, не стесняйся.

— А что говорить? Сам все понимаешь.

— Понимаю, как не понять. Я бы иначе действительно не остановился. Знаете, отцы, сколько перед моими глазами актерских судеб прошло. Казалось, все у человека есть — талант, красота, ум. А потом вдруг... Кто-то без ролей сидел годами и медленно неотвратно спивался, а кто-то, наоборот, на разрыв был, но все равно с ним что-то происходило. А меня от того и от другого Господь уберег. Звезд с неба не хватанул, особой славы не было...

— И слава Богу! — неожиданно категорично отозвался отец Леонид.

Теперь уже перекрестился Георгий.

— ... но и без дела не сидел и, считаю, в своей профессии состоялся. А теперь вот здесь...

С улицы донесся шум мотора. А уже через пару минут к честной компании присоединился Михаил. Обошлось без «штрафной», но отец Леонид и Георгий заставили его прочитать: «что-нибудь из Фета». Это было немного умилительно: деревенская изба, за столом — священник, писатель, артист и фермер. В отличие от других у фермера не было бороды, но были огромные, рабочие руки, широкое добродушное лицо и какая-то по детски доверчивая улыбка. И вот этот человек стал читать:

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга.
Валежник свистал на огне.

И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!

Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной...
О, друг мой, скажи, что с тобою?
Я знаю давно, что со мной!

— Вот, такие стихи, — закончив читать как-то виновато произнес Михаил.

— Скажите, — Покровский даже подался вперед, — а почему вы прочитали именно это стихотворение?

— Не знаю. Правда, не знаю. Может быть... Мне вчера доски привезли. Много досок, я строительством помаленьку занимаюсь. Так пришлось потом полночи эти доски к дому перетаскивать.

— Не понял, Михаил. А днем нельзя?

— Да вы что? Сразу же украдут.

— Кто?

— Да свои же, соседи. Вот, сбился, о чем мы?

— О стихах, друг мой, — улыбнулся Георгий.

— О стихах... Таскаю я, значит, доски. Темно, ветер, березы скрипят...

— Понятно.

За разговором незаметно шло время. Покровский посмотрел на часы и ахнул: был уже четвертый час ночи.

— Народ, а мы не слишком...

— Ни о чем не беспокойся, Арсений, — вот так просто отец Леонид перешел на «ты» с Покровским, — тебе сейчас хорошо?

— Очень.

— Так давай ценить это. А выспаться — всегда успеем. Ты лучше...

— Что? Говорите.

— Утром заметил, что ты написал что-то. Стихи мы уже слушали, может, прозу послушаем?

— А к месту ли? — Покровский был в нерешительности.

— А по-моему лучшего места для первой читки не придумаешь. Мы не сентиментальные барышни, а серьезные мужики, деликатничать не будем, — говорил отец Леонид серьезно, но глаза его смеялись, — понравится рассказ — так прямо и скажем, не понравится — тоже не смолчим.

— А откуда ты, батюшка, знаешь, что это рассказ?

— Так ведь для романа листков маловато будет.

— Да и роман нам за ночь не осилить, — поддержал друга хозяин дома.

— Убедили. Правда, я не правил его, даже не перечитывал... Короче, он откашлялся, — «Фекла». Так рассказ называется. И чтение началось:

«Самое первое воспоминание ее жизни: белые хлопья снега бьются в маленькое окошко, возникая из мрака, из пугающей темноты. Мама дышит ей в затылок и не хочет снимать с пальца широкое медное кольцо. В кольце отражается свет от лампы и мамино лицо. И ещё низкий скрипучий голос:

— Бедная девочка, руки как плети висят. Уж лучше бы померла, чем потом всю жизнь мучиться.

— А мне кажется, что правая стала лучше, может быть, ещё отойдёт? — робко, словно пытаюсь уговорить кого-то, откликается мать.

— Дай Бог, дай Бог, невестушка, — заключает низкий скрипучий голос, и в избе снова воцаряется тишина, только хлопья снега без устали бьются в маленькое окошко.

Потом мама ей расскажет, каким горем для семьи стала внезапная болезнь девочки. До шести месяцев маленькая Феклуша росла абсолютно здоровой. И вдруг как-то ночью всех разбудил крик девочки. Кричала она несколько часов, будто раздираемая нестерпимой болью. А после затихла и оцепенела — полный паралич. Феклу носили к бабкам, фельдшеру, молились о её здравии в церкви. И случилось маленькое чудо: сначала отошла правая рука, затем пришли в движение шея и плечо левой руки. Все остальные части тела до конца Феклиных дней так и остались недвижимыми.

Но вот что интересно: у родных, соседей, односельчан язык не поворачивался жалеть это красивую, крепенькую, жизнерадостную девочку. Только однажды, когда семилетнюю Феклу отец вынес на крыльцо погреться на майском солнышке, проходившая мимо соседка — бабка Пелагея, сложив руки и, поддерживая подбородок большим указательным пальцем, запричитала: “Ой, бедная ты моя! И за что же тебе такое?! И как же ты жить будешь...” “Как буду, как буду, — осерчала Фекла. — Разве ты не знаешь, что на всё воля Божья?” — обиды у девочки проходили мгновенно, и вот уже бабка Пелагея, с трудом сдерживая улыбку, слушает рассуждения изо всех сил желающей казаться взрослой Феклы: “Знамо, жизнь трудная, но я мамке всегда первая помощница. Малые на мне и пряхсть уже научилась. А ты, бабушка, такие глупости говоришь...”

И она не обманывала. В свои семь лет Фекла стала нянькой. Сначала для младших братьев и сестёр, затем для детей Прокофия и Василия, старших своих братьев, а после племянников пошли внуки. Семьи в те времена были большие и жили все под одной крышей. Так повелось издревле: сын приводил в дом жену, и уже будучи главой семейства, уважаемым на селе человеком, в то же самое время оставался послушным сыном. Невестки, снохи, сыновья, куча маленьких детишек, — но вот что удивительно: ссор, крика, обид не было. Чуть затлеет огонёк ссоры, как уже раздавался спокойный голос деда Ивана, главы этой большой патриархальной семьи: “Василий, Пётр! Что это ваши жёны разгалделись? Али делать больше нечего?” — и этих слов было достаточно, чтобы в избе вновь воцарилась тишина, а с нею и мир.

Одна из невесток деда Ивана, Вера, как приданное за собой принесла в новый для себя дом швейную машинку “Зингер”. Машинка была замечательная: лёгкая в управлении, надёжная, и Фекла, крепко подружившаяся с Верой, упросила ту научить её работать на этом механическом чуде. Все удивилась, как быстро Фекла овладевала швейными премудростями. И вскоре село Новоюрьево получило такую мастерицу, которой не было и в райцентре. “ Не оставил Господь, — утирала украдкой слёзы мать. — Будет у Феклушки кусок хлеба, когда мы с отцом умрём”.

А хозяин сам подошёл к Вере:

— Дочка, уважь старика. Меня не будет, и разбредутся мои сыновья по разным избам. Позволь мне войти в долю...

— В какую долю?

— Пусть половина машинки останется за Феклой. Ты же видишь, как она к ней пристрастилась. Уважь старика, возьми деньги.

— Да пусть работает на здоровье, у меня до машинки руки не доходят.

— И всё же, Вера, кто знает, как твой Прокофий с Василием и Петром жить будут. Хочу умереть спокойным за Феклушу.

Старик оказался прав. После его смерти надумали братья делиться. А на дворе был голодный тридцать второй год. Им бы друг за друга держаться, а они решили, что порознь будет легче. Фекла осталась с братом Василием и его женой Анной. Купили себе дома на стороне Пётр и Прокофий, и ушли из-под родительского крова. Окончательно порвать отношения братьям помешала Фекла. Её любили все, да и поди объясни детям, что они больше не будут слушать добрые феклинские сказки. Особенно переживал разлуку сын Веры Василёк. У него с тёткой были особые отношения. Пятнадцать лет разницы, а дружба — водой не разольёшь. Мальчик долго ходил за матерью и, хныча, повторял одно: “Мам, почему тётка больше с нами не живёт? Мам...”

И однажды, когда все были на работе, мальчуган убежал в старый дедушкин дом. Двери в ту пору в деревне на засов не закрывали, и каково же было удивление Феклы, когда входная дверь заскрипела, и на пороге появился Васенька. Копна соломенных волос явно говорила о том, что по пути сюда её владелец не миновал ни зарослей репейника, ни кустов крапивы.

— Тетка, пошли к нам, — без предисловий начал он. — Мне без тебя плохо.

— Мне без тебя тоже, ну как же я пойду? Ты же ещё маленький и меня не донесёшь.

Мы потихоньку, ты же по дому передвигаешься...

А надо сказать, что Фекла действительно научилась перемещаться по дому. Делала она это так: опускаясь на левое, здоровое плечо, Фекла при помощи правой руки подтягивала тело вперёд. Поскольку телосложения она была крепкого, а неподвижный образ жизни привёл к излишнему весу, такие пластунские упражнения отнимали у Феклы немало сил, а потому пользовалась она ими только в крайних случаях. До дома Веры и Прокофия — больше километра. Живут они на выгоне, почитай в чистом поле, значит, помощи ждать не от кого. А у Васька глаза полны слёз, он теребит её за руку... Фекла вздохнула: пошли!

И они пошли, вернее, шёл мальчик. Он подталкивал тётку, стараясь изо всех сил. Она даже взмолилась: “Племяш, если ты будешь столько сил на меня тратить, мы точно никогда не придём. Лучше иди рядом”.

Часа через четыре показался одиноко стоящий в поле дом Веры и Прокофия. На счастье, пришёл домой их старший сын, семнадцатилетний Иван. В окошко он увидел ползущую Феклу и тащившего узелок с её вещами брата. “Вот видишь, а говорила помочь некому”, — радостно говорил малыш, едва поспевая за Иваном, несущим на спине Фёклу.

Прибежавшей вечером Анне Фекла спокойно сказала: “Мне хорошо было у тебя, Анюта. Но годик хочу здесь пожить. А появится кто, не сомневайся, нянчить приду”.

И слово своё сдержала. Да и Васенька к тому времени подрос, и маленькую Таню, младшую дочку Анны, они нянчили вдвоём. Девочка принесла много радости в дом. Лицом она была в мать, характером, весёлым и добрым, в Феклу. По крайней мере, Анна часто смеялась: “Вторая Фекла растёт. Всё ей нипочём. Даже когда ушибётся, — погладишь её по головке, она засмеётся и дальше побежит”.

Когда Танечке исполнилось три года, иначе как ангелочком соседки её не называли. Девочка действительно была чудо как хороша: золотистые волосы, васильковые глаза... Кто бы мог

предположить, что случится такое? В тот страшный день все, как обычно, ушли на работу. Анна обещала прибежать в обед и накормить Феклу и дочь. Маленькая Таня беспрестанно бегала из дома во двор и обратно. Фекла немного прихворнула — очень болела спина, — и решила немного вздремнуть. Здесь же, в доме стоял привязанный телёнок, которому от роду было всего несколько месяцев. На печке грелось ведро с водой. Когда девочка в очередной раз с шумом вбежала в дом, телёнок, шарахнулся в сторону. Как он зацепил ведро и свалил его, остаётся только гадать. Фёкла проснулась от крика. То, что она увидела, потом многие годы кошмаром являлось во сне.

— Больно мне, тётя, больно! — захлёбывалась слезами Таня и, мокрая с головы до ног, протягивала к ней ручонки.

Фекла скатилась с лавки. Впервые в жизни её обуяли страх, растерянность и ужас. Она сначала бросилась к девочке, а затем, поняв, что ничем помочь ей не в силах, через кипящую лужу, лежавшего телёнка выкатилась на улицу.

— Люди, ради Бога, помогите! — не кричала — выла она — спасите её, люди!

Из соседних домов бежали на помощь, но она уже ничего не видела и не слышала: сознание оставило её. Фекла была бы счастлива умереть. Но сознание вернулось. Танечка уже лежала в постели. Вокруг неё хлопотало много людей, но помочь никто не мог. Три дня девочка боролась за жизнь, стоически терпя мучения, которые вряд ли кто из взрослых мог выдержать. Умерла Таня в яркий, звонкий день начала лета. Умерла также светло и тихо, как жила. Перед смертью простилась со всеми. Поцеловала маму, попросила не плакать о ней: "Мне ангелочек сказал, что там будет хорошо". А потом обратилась к Фекле уже слабеющим голосом:

— Жалко, что ты не сможешь на мою могилку приходить. — Фекла в своей привычной позе сидела в ногах Танечки. Кровать была огромная, девочка казалась в ней ещё меньше, чем была на самом деле. Таня пыталась приподняться, чтобы лучше увидеть тётю, но у неё это не получалось. Тогда Фекла осторожно опустилась на живот и подтянулась до уровня лица девочки:

— Не углядела я, голубчик мой, не углядела, — слёзы мешали видеть Танино лицо. — Лучше б мне под тем ведром оказаться, всё равно никому не нужна.

— Обними меня, тётя, — это были последние слова девочки. Фекла здоровой рукой бережно обняла её головку. Две слезы горошинками упали на подушку.

Поняв, что Тани больше нет, заголосили бабы, мать сползла на пол около кровати и запричитала: "И на кого ж ты нас покинула..." А Фекле вдруг сделалось легко и спокойно. Танечка лежала, будто спала. И, не слыша никого и ничего, Фекла вдруг запела. Сначала тихо, затем громче. Растерявшиеся от неожиданности люди разом смолкли, и в наступившей тишине, — только ходики мирно отсчитывали время, — звучал низкий голос Феклы:

Сидела я у окошечка,
Ждала себе милого,
Не могла дождаться.
Спать ложила.
Утром встала — спохватилась,
Гляжу на себя — вдова,
Кому мы поём,
Тому добро будет,

Тому сбудется
И не минуется.

После по деревне ходила молва, что так Фекла всем новую беду пророчила. А беда действительно была совсем рядом. Через десять дней началась война. Старые бабки говорили, что это — за грехи людские. За то, что церкви святые поразрушили, священников поубивали. Но если покается народ русский, добавляли они, то обязательно Россия супостата Гитлера одолеет. Фекла ничего не говорила, она только слушала. Странное дело: в опустевший дом Анны валом валил народ. Женщины приходили по вечерам, садились в ногах у Феклы. У неё на кухне было своё место — под образами, на крашеной скамье. Сзади подушки, на столе швейная машинка — всё тот же верный “Зингер”. Шли к Фекле люди и с радостью, и с горем, что было чаще. Отчего так повелось, вряд ли кто мог объяснить. В домах остались старики да малые ребятишки, целый день — работа до седьмого пота. И вечная тревога: как там мой, на войне? Стали приходиться и похоронки. Вот и шли бабы в дом Анны, зная, что всегда на кухне, под образами сидит Фекла. Она почти ничего не говорила, но зато всегда в конце находила несколько слов, от которых самая смертная тоска становилась тише. И хватало её сил радоваться чужому счастью, даже когда пришли похоронки на брата Василия, мужа Анны, и Михаила, старшего сына Веры.

Лет тридцать спустя Анна так ответит своему племяннику, тому самому соломенновололосому Васе, когда он спросит, почему она, молодая и красивая больше не вышла замуж: “А ведь и впрямь, предлагали. И не раз. Однажды уже согласие почти дала. Но не поверишь, Фёклы постеснялась. Она мне говорила, мол, решай, Анютка, сама, и как решишь, так пусть и будет. Но, веришь ли, чувство было такое, будто предаю её. А она мне вновь твердит: “Брата моего не вернёшь, вдовою ты честно была, так что всё правильно”. Ладно, отвечаю, только ты жить по-прежнему со мной будешь. Молчит, но чую, уйдёт она к Верке, матери твоей, или ещё куда, но уйдёт. А мы же ведь с ней родней сестёр стали, особенно после смерти Танечки. Подумала я, подумала и решила: значит, так Господь судил, но куда ж мне без Феклы, а ей без меня...”

И, как в прежние годы, двери в их доме не закрывались. Когда же утихал до будущей осени сиверко, и на майское солнышко выходил греться старый кот Рыжик, выносили Феклу на крыльцо. Сосед всегда смеялся:

— У тебя, Фекла Ивановна, настоящий политклуб. Как ни посмотрю, всё вокруг тебя бабы. И о чём только вы весь день трепитесь?

— Эх, — смеялась Фекла, — что ещё нам остаётся? Одна радость — языки почесать.

Умерла Фекла на Святой неделе. И в этом народная молва усмотрела некий знак свыше. Умерла неожиданно, потому что не болела, по крайней мере, никто жалоб от неё не слышал. Она пила молоко и вдруг поперхнулась. Лицо посерело, кружка с грохотом покатила по полу. Никто ничего не успел понять. Фекла поняла всё. Она уже не чувствовала тела, сердце, словно нехотя, стукнуло раз, другой — и остановилось. Вместо голосов — гул, вместо лиц — какой-то яркий свет. Последняя мысль: как жаль, что я больше не увижу тот замечательный сон — куст бузины у родительского дома. Мама, говорит она, посмотри, какие красивые ягодки. Можно я сорву их? И, не дожидаясь ответа, бежит к кусту. Бежит сама, бежит босая, а из окна смотрит отец и смеётся: “Какая ты ловкая у меня, дочка...”

Хоронили Феклу на Красную Горку — так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Бабам, готовившим её в последний путь, так и не удалось выпрямить умершей ноги. Поэтому гроб сделали особенный — он больше напоминал квадратный ящик. Под старость Фекла значительно прибавила в весе, а потому шесть здоровых мужиков, которые несли гроб, останавливались отдыхать почти у каждого дома. Из домов выходили люди и клали в гроб крашенные яйца, так что вскоре было видно только лицо Феклы. “Христос воскрес, Феклушка”, — шептали женщины и вытирали платками уголки глаз.

Перед тем, как повернуть на кладбище, похоронная процессия прошла и то место, где некогда стоял родной дом Феклы. Люди почему-то не вспомнили об этом, и не остановились. Может быть, и правильно, что не остановились: даже следов дома не осталось. Но, как и прежде, росла на своём месте бузина. Налетевший майский ветерок пробежал по проулку, ветки бузины затрепетали и слегка наклонились, будто прощаясь с Феклой. Прощаясь навеки».

* * *

Только Покровский успел дочитать последнее слово, как тишину раннего ноябрьского утра расколол выстрел. Сухой, резкий и очень громкий. Хозяин дома вскочил и бросился к окну, за ним последовали и другие.

— Что это могло быть? — спросил батюшка, задавая вопрос ни кому-то конкретно, а скорее озвучивая то, о чем думал каждый.

— На «калашникова» похоже, будто кто подошел к окну и пальнул...

— Миш, ну посуди, откуда здесь «калаш»? — возразил другу Георгий.

— Я же сказал — похоже.

— Отцы, уже светает, ложиться спать нет смысла. Пойдемте выйдем и посмотрим что к чему, — предложил отец Леонид.

Они вышли на улицу, перейдя все тот же затейливый мостик. Деревушка мирно спала, утонув в топленом молоке предрасветного часа. Только силуэт колоколенки одиноко возвышался впереди.

— Господи! — охнул вдруг Шапошников. — Да что же это?!

— Да что случилось, Георгий?

— Креста нет!

— Да его там почитай полвека уже нет.

Шапошников смущенно хмыкнул:

— Ну... Короче, вчера был, батюшка.

— Что ты говоришь такое?

— Пойдемте к храму, по дороге каяться буду.

Покровский пока ничего не мог понять, но по тому, как взволновались отец Леонид и Георгий, понял, что произошло нечто неординарное. Пока они шли к храму, Шапошников, возглавлявший маленькую процессию, все время оборачиваясь назад, рассказывал:

— Позавчера приезжаю из Москвы, а навстречу сосед мой, Пахомыч. «У меня для тебя подарок, Федорович», говорит. «Крест купольный нашелся». А я своим ушам не верю. Все эти годы, ты же знаешь, батюшка, крест тот искал. Старики вспоминали, что он какой-то необычной формы был, но никто не помнил, куда он мог подеваться. А он, оказывается, все эти годы находился возле храма, лежал на брошенной могилке. Столько раз мимо ходил — и не видел. А тут — на тебе... Ну, вот, меня аж затрясло. Думаю, сейчас почищу крест от земли и

сразу же водрузю... водрузу... короче, вы меня поняли.

— Георгий, ты соображаешь, что сделал. Без благословения...

— Теперь понимаю, батюшка.

— Да не понимаешь. Чин существует специальный, молебен полагается отслужить, а ты... Эх!

— Я и говорю: прости, Господи! Вообще, обвязал себя веревками и полез на купол. А на нем видно при советской власти антенна стояла.

— Какая антенна? — отец Леонид даже остановился.

— Так в церкви же одно время клуб был, вот я и решил, что антенна. От нее осталось железное отверстие, как раз крест должен в него войти. Я, значит, сую крест, а он не лезет. Не лезет, и все тут. Думаю, может, труха какая не пускает. Нет, вроде пусто. Одним словом, засунул я его туда, вроде встал ровно.

Наконец они подошли к храму. Как и любой другой человек, Покровский за свою жизнь перевидал много храмов. Больших и маленьких, знаменитых на весь мир и затерянных в деревенской глуши... Этот, львовский, удивлял с первого взгляда. Конечно же — колокольня. Она стояла... К Покровскому пришел образ: свечу, которую долго держали в теплых руках, ставят перед образом. И поскольку воск реагирует на тепло, встает она не прямо, а чуть наклоняясь. Вот так стояла и эта колокольня.

Впрочем, времени, созерцать творение Львова и размышлять, не было.

— Вот он! — это был голос Георгия, успевшего обойти вокруг храма. Поотставший от других Покровский пошел на голос. Вокруг были могилы и пока Арсений пробирался мимо них, его друзья успели поставить крест, прислонив его к стене храма.

Михаил, нагнувшись, словно опытный реставратор, осторожно и неторопливо просматривал каждый сантиметр креста.

— Хорошая работа. На века ставили...

Склонился еще ниже:

— Вроде все нормально.

И вдруг даже присвистнул:

— Ничего себе... Ребята, посмотрите!

Покровский не был специалистом в металлургии, но даже он понял, взглянув на основание креста, почему был так изумлен Михаил: оно было срезано ровненько-ровненько. Никакого скола нет даже в помине.

— Вот вам еще одно чудо, — Михаил поднялся, давая возможность отцу Леониду и Георгию подойти к кресту поближе. — Вы смотрите, смотрите. Поверьте мне, кое-что в этом деле я соображаю. Так срезать можно только лазером, но я не верю в пришельцев с лазерным оружием.

... Разумеется, в тот день ни отец Леонид, ни Покровский в Энск не поехали. У священника

было с собой все необходимое, и они отслужили специальный молебен. И лишь после этого сделал свою вторую попытку поднять в арапчеевское небо крест неунывающий бородач. Арсений, стоя внизу, с восхищением глядел на этого немолодого уже человека, с отчаянной храбростью поднимающегося вверх. «Вот этот может упасть, но только не потому, что стоит на одном месте, как некоторые», — думал писатель. Неожиданно он встретился взглядом с отцом Леонидом. Тот улыбнулся и показал на Шапошникова:

— Ему еще от меня перепадет, но ведь молодец!

— Молодец, — согласился Покровский. — Все вы здесь...

— Отцы! — сверху раздался торжествующий бас Георгия. — Встал! Как будто всегда здесь и стоял!

— Так ведь всегда и стоял, — откликнулся священник, — только он, и никакой антенны.

— Никакой! — продолжал кричать Георгий.

А потом вдруг поцеловал крест и заплакал. И только по движению губ Арсений разобрал, что чуть слышно прошептал этот странный человек:

— Спасибо Тебе, Господи. За все.

* * *

В Энск они въезжали молча. Каждый, и священник, и писатель, думал о чем-то своем.

— Кстати, батюшка, — вдруг спросил Арсений, — а какой сегодня день?

— С утра была пятница, — улыбнулся отец Леонид, — впрямь забыли или шутите?

— Какие шутка? Я вот и сколько сейчас времени спросить хочу.

— А посмотрите вон туда... Нет, правее.

— Куранты? Без двадцати пять. Можно верить?

— Не сомневайтесь, время точнехонькое.

— Значит, мы сейчас в самом центре Энска. Думаю, где-то здесь должна быть редакция вашей местной газеты.

— Прямо к крыльцу подвезу. А что, знаете там кого-нибудь?

— Недавно познакомился. Некто Владимир Орлов...

— «Некто!» Тоже мне, сказали. Владимир Олегович совсем не некто. Мы с ним, точнее с его второй половиной, давнишние оппоненты.

— Не понял, батюшка. Вторая половина — это его жена?

— Он разведенный. Вторая половина...

Машина остановилась.

— Вот, Арсений Васильевич, приехали. Думаю, не последний раз мы к Георгию выбрались.

— Очень надеюсь на это, батюшка. И все же, про Орлова доскажите, пожалуйста.

— А что тут досказывать? В нем словно два человека живут. Да он и сам этого не скрывает, Двойником называет. Орлов — очень талантливый журналист, смелый человек. Его всегда читать интересно, жаль главный редактор в «Энской заре» мужик трусоватый, особо не дает Орлову развернуться. А второй, Двойник, эдакий меланхолик, вечно брюзжащий и только на дне, простите, бутылки, находящий отдохновение.

Затем отец Леонид словно осекся:

— Простите. Лишнего наговорил.

— Так это я расспрашивать начал, батюшка.

— Кстати, а давно вы с ним знакомы?

— Тогда уж с ними — и с Орловым, и с Двойником. Недавно познакомились... в одном заведении. Он мне на прощание рукопись свою дал...

— Вот как? И каковы впечатления, Арсений Васильевич?

— Да в том-то и дело, открыл первую страницу... Да вот она — с собой рукопись таскаю. Послушайте, батюшка: «Момент истины — лишь момент. Мелькнет и ускользнет. Темно и пусто. Вот завоют из пустых энских садов беспризорные псы. У человека тоска злее собачьей кобельканто. Нигде так тяжело осень не давит на душу, как в глухих российских уголках. Унылое оцепенение умами и просторами. И скребется мышью в подвалах сознания вопрос: вот еще год пройдет, а что дальше?» Ну, а у него дальше про силуэты энских храмов, которые теряются во мгле...

— Да, — только и сказал отец Леонид. — А рукопись все-таки до конца прочитайте. Там не только Двойник пишет, но и Орлов, который очень любит и Энск, и Россию.

— В том то и дело, что я таскаю ее, а вдруг Владимиру Олеговичу она нужна. Пойду, покаюсь, если еще разрешит подержать у себя — обязательно прочту.

— Там вся проблема... Впрочем, действительно, сначала прочтите, а потом мы поговорим. Если мы пойдем Орлова, то пойдем, что сейчас происходит с русским интеллигентом.

Пока они разговаривали, не замечая вокруг ничего и никого, из подъезда старинного и обшарпанного двухэтажного дома вышел человек с кожаным портфелем. Он зябко поежился, поднял воротник — и вскоре растаял во мгле. Это был Владимир Олегович Орлов.

* * *

Попрощавшись с отцом Леонидом, Покровский направил стопы к тому же подъезду. В нос ударил запах кошачьей мочи и табачного дыма. Тускло горела лампочка, настолько тускло, что Арсений почти не разглядел лица женщины, спускавшейся по лестнице ему навстречу. На какое-то мгновение их взгляды встретились. На писателя глянули огромные карие глаза. «Красивые, но какие грустные» — промелькнуло в голове Покровского. Женщина несла в руках несколько больших пакетов. Он посторонился, чтобы пропустить ее, но спустившись по лестнице еще на две-три ступеньки, она обернулась:

— Вы в редакцию?

— Да.

— Там никого нет. Уже пять часов.

— В мои годы мы из редакции уходили затемно.

— В мои тоже, Арсений Васильевич.

— Мы знакомы?

— Нет, просто я здесь корректором работаю.

— Понятно. Что ж, будем считать, что вот так постепенно я познакомлюсь со всей редакцией «Энской зари». Вас зовут...

— Галина. Галина Аркадьевна.

— Очень приятно.

— Мне тоже. Простите, руки вам подать не могу.

— Это вы меня простите, — спохватился Арсений, — позвольте я вам помогу. Такая хрупкая, разве можно такие тяжести таскать?

— Так больше некому. Сегодня у нас наконец-то зарплату дали, пятница, сами понимаете...

— Не совсем, Галина Аркадьевна.

— В Энске это главный рыночный день. Вот я и затоварилась по полной.

— Послушайте, — Арсений сделал еще одну попытку взять у женщины свертки, — давайте ваше богатство, обещаю, все будет в целостности-сохранности. Я провожу вас.

— Никогда и ничего не обещайте, Арсений Васильевич. Приятно, конечно, что заезжие писатели такие джентльмены, но боюсь, сейчас от яиц, купленных мною, останется месиво.

Они вышли на улицу.

— Не передумали?

— Нет.

— Тогда нам в ту сторону.

— Здорово! И мне тоже туда.

— Я знаю, Арсений Васильевич. Монастырь от моего дома совсем недалеко.

— Про монастырь тоже в газете писали?

— У нас же маленький город, да к тому же...

— Что?

— Вы недавно с Володей Орловым встречались...

— Ясно.

Они какое-то время шли молча.

— Тяжело? — нарушила молчание Галина. — Может, что-нибудь я понесу?

— Обижаете. Или заезжие писатели не мужчины?

— Не обижайтесь. Я сама заезжая. Жила в большом областном городе, много лет работала журналисткой. Стихи писала.

— Стихи?

— А что, не похоже? — женщина засмеялась, только очень горьким был тот смех.

Покровский смутился.

— Простите, я...

— Да все правильно. При слове поэтесса, кого обычно представляют? Ахматову, Цветаеву, Ахмадулину. Разве не так?

— Так, — согласился Арсений.

— А тут тащит тетка кучу сумок. Поэтесса... А между прочим, в голосе Галины слышались гордые нотки, — я член Союза писателей России, у меня сборники выходили...

— Галина Аркадьевна, я не хотел вас обидеть...

— Это вы меня простите. Завелась. Наверное, просто живет в душе обида.

— На кого?

— Не знаю. На жизнь, наверное, а может, на себя. В середине девяностых осталась без работы. А дочка на выданье. Вот я и продала свою двушку. Часть денег ушли на подарок Машке, дочери. Родители жениха тоже помогли, вот они себе однокомнатную квартиру справили. А на оставшиеся деньги купила себе дом в Энске. Правда, не совсем дом, а часть дома...

— Можно спросить? А почему в Энске?

— Здесь моя подруга живет, мы с ней еще с институтских времен дружим. Лариса Ивановна Мишина, не слышали?

— Нет.

— Она у нас заместителем редактора работает, вот оказала мне протекцию.

— А почему только корректор?

— За бюджетные места у нас в Энске люди стараются держаться. Не велики деньги, зато верные. Если есть огород или дача, то выжить можно.

— А просто жить?

Они остановились.

Галина вновь посмотрела на него своими огромными и грустными карими глазами.

— Честно? За всех не отвечу, у меня это получается неважно... Устали?

— Честно? Есть немного. Очень мало в последнее время спал. Сейчас как завалюсь суток на двое...

— Тогда пойдемте короткой дорогой. Как здесь говорят, задами.

— Галина Аркадьевна, — когда они двинулись дальше, спросил спутницу Покровский, — так я не совсем понял: вы полдома купили?

— Хорошо бы. Четверть.

— Не понял...

— Моя собственность — четверть дома, причем, очень старого. Зато большого. Полдома занимают москвичи. Мои апартаменты — первый этаж во второй половине — две комнаты, кухня, кладовая...

— Удобства на улице?

— Разумеется.

— Газ?

— Слава Богу, баллоны привозят аккуратно. А вот отопление печное. Да все нормально. Другие живут, почему я не могу? Так, о чем мы? Ну, а надо мной живет одна семья. Молодые ребята, очень симпатичные, Ира и Миша. У них есть сын, Тихон. Может, сегодня познакомитесь. Это просто чудо. За ним надо просто ходить и записывать. Что ни фраза, то перл. После того, как первый раз в детский сад пошел, дома его спрашивает отец: «Как тебе воспитательница?» — «Не переживай, папа, — молодая, красивая», — отвечает.

— Неплохо!

— А вот и он, собственной персоной.

Зады, похоже, кончились, и они вышли к дому Галины Аркадьевны, но вышли не со стороны улицы, а со стороны реки. Они прошли сад. Залаяла собака.

— Не бойтесь, Арсений Васильевич. Это Дозор, лучший друг Тихона. Пес добрый, но свое дело знает.

— Тиша, — обратилась она к кудрявому светловолосому малышу, с любопытством глазевшего на Покровского, — успокой дружбана. Кстати, ты далеко на ночь глядя собрался?

— К Наташе. Она мне будет книгу читать. Интересную. — После этих слов он подошел к огромной лохматой собаке и топнул ногой:

— Дозор, хватит! Свои.

Удивительно, но собака, которая была в холке выше мальчика, повиновалась и, загремев цепью, отправилась в свою конуру.

— Ну, вот, мы и пришли, Арсений Васильевич. Даже не знаю, как вас благодарить.

— Скажете тоже...

— А хотите, я вам стихи почитаю.

— Что, прямо здесь?

Она засмеялась. И в первый раз за все их знакомство, Покровский не услышал горечи в ее смехе.

— Вы посмотрите, какая я сегодня богатая, сейчас что-нибудь придумаем.

— Спасибо, но давайте в другой раз. Устал, правда. Давайте я уж до самого конца ваше богатство донесу, а потом пойду.

— Что ж, ловлю на слове. Буду ждать.

Все это время Тихон не отходил от них ни на шаг. В «четверть» Галины Аркадьевны был отдельный вход. Мальчик зашел к соседке будто к себе домой.

— А какой-нибудь заваливающей конфетки у тебя нет, тетя Галь?

— Это почему заваливающей?

— Не обижайся. Это чтоб ты не подумала, что я нескромный. Я любой конфетке буду рад.

И только получив гонорар за спасение незнакомца от Дозора, Тихон удалился со словами:

— Пошел я, а то Наташка заждалась.

— Пойдемте, Арсений Васильевич, я покажу вам, как до монастыря быстрее пойти.

Они вышли к дому с другой стороны.

— Что, не царские хоромы? — спросила Галина Аркадьевна писателя.

— Так меня дальше кухни не пустили...

— Ах вы бессовестный!

— Может, это маскировка, а внутри — царские хоромы. Шучу, я шучу! Я видел иконы и много книг, что человеку еще надо, если есть крыша над головой.

Они замолчали.

— Что ж, давайте прощаться, Галина Аркадьевна.

Вместо ответа женщина посмотрела немного в сторону, будто что-то увидела там, вдали. А потом тихим, с легкой хрипотцой голосом, стала читать стихи:

Веревка от березы до осины.
Полощутся пеленки на ветру.
И я на руки бережно беру
Красивого зареванного сына.

В цветные набегающие волны,
В безбрежные цветы мы с ним идем.
И даже если встретимся с дождем,
То все равно останемся довольны.

Веревка от березы до осины.
Полощутся пеленки на ветру.
...Я каждой ночью на руки беру
Красивого несбывшегося сына.

— Простите, Галина, это — ваши стихи? — Арсений смотрел на нее так, будто впервые увидел.

— Мои.

— Я к вам обязательно приду, слышите? И вы будете мне весь вечер читать стихи. Ваши стихи.

— С удовольствием. А если забудете дорогу, запомните адрес. Он очень легкий: улица Каминского, дом номер восемь.

— Какая улица?

— Каминского. Революционер такой был, Советскую власть здесь устанавливал. Погиб от рук врагов революции. Его кожанка в нашем местном музее висит.

Где-то Покровский уже слышал или видел название улицы. Впервые за все время разговора, он огляделся по сторонам... Тот самый забор. Тот же куст бузины...

— Галина Аркадьевна, простите, а вы про москвичей говорили. Это не мать и дочь?

— Точно, — удивилась женщина — Лена и Наташа. Чудесные и очень симпатичные люди. А вы что, с ними знакомы?

— Очень поверхностно... Очень.

* * *

Н-да, было о чем задуматься. Но он не успел этого сделать. Из двери правой стороны дома, оттуда, где жили москвичи, буквально вылетел Тихон. Мальчик кричал что-то, можно было разобрать: «Мама! Лена! Наташа! Как тогда!»

— Тиша, что случилось? — кинулась Галина к мальчику.

— Тетя Галя, — и без того большие глаза Тихона от ужаса стали еще больше, — там Наташа лежит. Как тогда!

— А где Лена?

— Нету! У нас она...

— Беги за Леной, — скомандовала Галина, — а вы за мной, Арсений, — и не дожидаясь ответа Покровского, она рванула к распахнутой двери на правой стороне дома. Понимая, что происходит нечто серьезное, Арсений побежал за ней. Чтобы сократить путь, перемахнул через палисадник, забыв о больной ноге. Когда на следующий день он станет вспоминать этот эпизод, то будет долго смотреть на свою правую ногу, не веря, что прыгнув на нее с высоты, не

только не свалился, как подкошенный, а даже не почувствовал боли. Но это будет завтра, а пока он проскочил куст бузины, пробежался по деревянным ступенькам крыльца и — замер.

Девушка лежала на диване, лежала одетая. Более прекрасного лица Покровскому не приходилось видеть. Длинные шелковистые волосы собраны в хвостик. Лицо у девушки было немного бледноватым, но в самом выражении — столько покоя, какой-то нездешней тишины, что тревога, охватившая сердце после плача и слов мальчика, вмиг куда-то испарилась. «Так, наверное, выглядят ангелы», — подумал Арсений. В этот момент ему в спину буквально влетела Галина.

— Что... что здесь? Почему... стоите? — женщина хватала ртом воздух.

В этот момент девушка открыла глаза и повернула голову в их сторону... В литературе всегда существуют штампы. Покровский знал, что напиши он когда-нибудь: «в ее широко распахнутых глазах он увидел небо и вечность», любой мало-мальски уважающий себя критик вдоволь посмеется над ним. Но ведь все так и было! Девочка посмотрела на ворвавшихся в комнату. Вначале Арсений прочитал в ее глазах недоумение — человек явно возвращался откуда-то и еще не понял, где он. Потом — улыбка:

— Галя, здравствуй! Ой, и вы у нас? А я что — спала?

— Господи! — Галина опустила на стул, — ну и напугала же ты нас.

В этот момент в комнату вбежала Лена и еще какая-то, незнакомая Покровскому женщина.

— Дочка!

— Леночка, да все в порядке. Ты ушла к Ире, я ждала Тишу и вроде бы задремала...

— Слава Богу, — Лена перекрестилась, — а я-то подумала...

— Или не задремала.

— Ты что-то видела?

— Да, но об этом не сейчас. Не обижайся.

И только в этот момент Елена заметила Покровского. Ее глаза вмиг потемнели. Так бывает, когда на солнечную поляну, полную цветов, вдруг налетает ветер, принося с собой грозовую тучу. И то, что только мгновение назад дарило покой и радость, вдруг замирает в ожидании бури. И она разразилась, здесь, в этой комнате.

— Послушайте, а вы что здесь делаете?

— Я? — растерялся Арсений.

— А кто же еще, тщеславный писака! Растерялись, что в отличии от других не бросилась к вам на шею, хлюпая от восторга соплями.

— Послушай, Лена, ты...

— Помолчи, Галина! Он достал меня. То клоунаду под окнами устраивает, то является без приглашения. Я вас сюда не приглашала.

От такой несправедливости внутри у Покровского все закипело. Вспомнил старый добрый способ и стал считать про себя.

— Один, два, три.

— Лена, мы тебе сейчас все объясним...

— Не надо мне ничего объяснять! У меня есть и глаза...

— ... четыре, пять, шесть...

— ... поэтому будьте так добры, писатель земли русской...

— ... семь, восемь, девять...

— ... сделайте так, чтобы вас больше здесь не видели. Никогда!

— ... десять.

Не помогло.

— Дамочка, успокойтесь. Ухожу.

Сделал паузу. За словом он никогда в карман не лез.

— Теперь я понимаю, почему в старых сказках подле прекрасных принцесс всегда мачехи-ведьмы крутятся. Наверное, для всеобщей гармонии.

Повернулся, и вышел, ни с кем не попрощавшись.

* * *

Галина любила просыпаться в субботу утром. Просыпаться, чувствуя себя в тепле и уютной безопасности. Просыпаться, зная, что никуда не надо идти. Лежать с закрытыми глазами и думать о чем-нибудь хорошем. Например, о том, что скоро она станет бабушкой. Раньше Галина боялась этого слова, а теперь ей не терпелось дожидаться того дня, когда с Машенькой и малышом или малышкой в коляске они будут гулять по набережной в Старовожске и разговаривать, разговаривать...

Солнечный зайчик прыгнул по потолку. Надо же, впервые за столько дней — на улице солнечно. Зайчик спустился на выдавшие виды шторы, пробежался по одеялу и остановился у нее на лице. Галина зажмурилась. А может, на самом деле не все так плохо? Странно, но и строки приходили к ней чаще в утренние часы, чем вечерами, когда тоска одиночества и неприкаянности хватала за горло и душила, душила, душила...

В дверь позвонили. Галина уже собиралась вставать, но дверь открылась (опять забыла закрыть!) и она услышала основательный топоток детских ножек. Тихон, святая душа, пришел навестить старую приятельницу...

Галина по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Тихон подошел к кровати, осторожно коснулся ее руки.

— Спишь?

— Угу.

— Неправда, не спишь. Если б спала — не разговаривала бы.

— Просто я вежливая очень. Когда меня спрашивают, я отвечаю.

Тихон задумался, переваривая услышанное.

— А я, тетя Галь, вежливый?

— Поживем, брат, увидим.

Она открыла глаза и улыбнулась мальчугану.

— Доброе утро!

— Кому как...

— Не поняла.

— У меня доброе, у тебя доброе, а у Лены не очень. Мама к ним ходила, говорит, плачет соседка.

— Ира уже сходила к Ермоловы, пришла домой, все рассказала... Сколько же сейчас времени, дружок?

— Когда уходил, большая стрелка была на двенадцати, а маленькая между девятью и десятью.

— Сложно-то как. Сейчас, брат, дай представить. Полдесятого? Ну, я и соня!

— Получается, у тебя чистая совесть, — вид у Тихона был уморительно серьезен.

— Вот как? А почему?

— Папа говорит: «Чем чище совесть, тем крепче сон».

— Надо же. Ладно, ты давай иди на кухню, доставай всякие вкусности, а я подниматься буду...

Через пятнадцать минут они пили чай с сушками и конфетами, Тихон болтал не умолкая, а Галина думала о Лене. Значит, плакала? Какая вчера была некрасивая сцена! Когда Покровский ушел, Лена нашла в себе силы даже улыбнуться, мол, и до свидания. Но Галина заметила, что когда Арсений сказал те слова — «мачехи-ведьмы крутятся», Ермолова вздрогнула, будто ее ударили хлыстом.

— Слушай, Тишань, — вдруг сказала Галина, — а давай-ка мы Наташу с Леной проведем? Тебе ведь вчера так книгу и не прочитали?

— Не прочитали.

— Кстати, ты, наверное, напугался очень?

— Напугался, но не очень. И не за себя, а за Наташу.

— Ты молодец у нас. И сразу бросился за помощью.

— Я же мужчина.

— Конечно! Ну, пойдём?

* * *

— Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро? — увидев их, улыбнулась Наташа.

— А мы не с пустыми руками, солнышко. Сейчас будем чай пить с конфетами.

— Так что ж меня не предупредила, тетя Галь, — огорчился Тихон, — в меня больше не влезет.

— Не беда, ты чаю попей, а конфеты не ешь.

— Хитрая! Я лучше наоборот...

Наташа сидела на том же диване и читала какую-то книгу.

— Что читаем, солнышко?

- «Флавиана».

— Это что, про древнюю Иудею что ли?

— Почему про Иудею, Галина?

— Был такой историк иудейский, Иосифом Флавием его звали.

— Нет, Флавиан — это священник сельский.

— Понятно. Интересная книга?

— Очень.

— Слушай, Наташа, — вступил в разговор Тихон, — а почему тогда Флавиана? Это так жену его зовут?

— Чью?

— Священника.

Девушка залилась звонким смехом. Тихон обиженно насупился.

— Ну, прости меня, Тишань, — Наташа потрепала мальчугана по волосам, — я неправильно выразилась. Галина спросила, что я читаю, я ответила: «Флавиана». А надо было, учитывая твою дотошность...

— Очень похвальную, заметь, — перебила Наташу Галина.

— Конечно, так вот, надо было ответить так: «Я, Наталья Ермолова, читаю книгу «Флавиан» протоирея Александра Торика».

— Теперь понятно. А кто такой прото...

— Слушай, любопытная Варвара, бери конфеты и позови тетю Лену. Кстати, Наташ, а где она?

— На втором этаже.

— Вперед, альпинист, — ласково подтолкнула Галина ребенка.

Через минуту к ним присоединилась Елена. Она подошла к дочери, бережно поправила плед в ее ногах.

— Что читаем, ангел мой?

— «Флавиана».

— Это про древнюю Иудею, кажется? Что вы смеетесь?

— Мы любя, Леноч. Как себя чувствуешь?

— Как чувствуют себя по утрам ведьмы? Плохо чувствую, Галя, плохо.

— Послушай, но ты ведь вчера тоже...

— Что тоже? Я ему сказала правду. А правду, как известно, говорить легко и приятно.

— Кто тебе такую ерунду сказал?

— Классику надо читать, Галочка.

— А, по-моему, нет ничего труднее, чем говорить правду. Представляешь, ты врач, к тебе приходит больной, ты знаешь, что он безнадежен. Тот человек смотрит на тебя, а в глазах надежда. А ты должна... Да ладно, не будем об этом...

— Это совсем другое.

— Почему другое? Правда всегда одна, — тихо сказала Наташа.

— И с чего ты решила, что всегда говорила правду, — поддержала девушку Галина.

— Ах, вот вы как?! Вы еще пожалейте его, бедненького. Почему решила, спрашиваешь? Во-первых, интуиция. Чувствую я людей, понимаете, чувствую. Во-вторых, учителя по жизни хорошие попадались, научили. В-третьих, подключаем элементарную логику...

Галина и Наташа переглянулись, даже не попытавшись сдержать улыбку, что не могло не укрыться от Ермоловой:

— Да ну вас! — похоже, Елена обиделась всерьез. — Друзья называются...

— Леночка, просто ты противоречишь себе, — Галина подошла и обняла соседку, — говоришь, а потом про логику. Откуда у нас, женщин, логика?

— Это у вас откуда, а у меня есть. Наверное, потому, что сколько себя помню и за себя, и за того мужика и живу, и вкалываю.

— «Сколько себя помню»... Сколько тебе годков, Леночка?

— Много. Скоро сорок стукнет. Ты, Галин, не отвлекай меня. Мы о логике говорили.

— Говорили...

— Так вот, вся эта моя триада — и интуиция, и опыт, и логика говорят мне, что Покровский — пусть и не бесталаный писатель, но как человек...

— Лена, остановись, — вдруг попросила Наташа, — чтобы не жалеть потом.

— ... но как человек, — будто не слыша дочь, упрямо продолжала Ермолова, — это мелкий тщеславный тип. Видели бы вы его в библиотеке. Сидит, подписывает книги, к нему выстраивается очередь, на лице такое блаженство. А тут какая-то Ермолова, не проникнувшаяся торжеством момента. Вот его это и задело. А теперь про вчерашнее. Галина, ты по наивности подумала, что он с тобой на улице случайно повстречался? А был голый расчет.

— Почему голый?

— Ну, холодный. Оговорилась.

— Прости, Лена, но я пока в твоих словах не только правды, но и логики не слышу. Первой его окликнула я, он поднимался к нам в редакцию, потом помог...

— Знаю, знаю. Повторяю, расчет. Что ему в этой дыре делать? Все рассчитает праздный ум.

— Это из «Фауста» что ли? Я про ум.

— Не собьешь, Галя, и не надейся. Это из меня. Итак, восстановим картину. Через своих знакомых, того же Орлова, он узнает, что ты — моя соседка. Потом так все рассчитывает, что ваша встреча кажется со стороны совершенно случайной. Он уже с месяц живет в Энске, знает, когда у нас рыночный день, что Галя живет одиноко — прости, Галя...

— Так ты в моем одиночестве не виновата...

— ... и кто ей купит еще продукты. Орлов, наверняка, про зарплату рассказал...

— Мама, ты никого не слышишь...

— Нет, дочка, это вы меня не слышите. Повторю, в изобретательности писателю земли русской не откажешь. Он приходит к Галине, затем вроде бы прощается...

— А потом из вашей квартиры, Лена, выбегает кричащий от страха за Наташу Тихон... Мальчика он тоже подговорил заранее?

— Счастливая случайность. И — вот теперь внимательно! — мой главный аргумент. Если хотите, козырь.

— Наконец-то! Козыряй.

— Спасибо, дорогая Галочка. По твоим же словам, этот человек так торопился в наш дом, что перепрыгнул через палисадник. Метровый, как минимум. А как же ножка?

— Какая ножка?

— Та самая, больная. Три дня назад ползал тут на карачках, а теперь запрыгал, как молодой козлик. Ну, что скажете?

Елена торжествующе обвела взглядом слушателей.

— Теперь опровергайте.

- Нога могла выздороветь... — неуверенно начала Галина.
- Не смейся, пожалуйста, мои старые кости, — сказала, как отрезала, Ермолова.
- Лена, а ты помнишь...
- Слушаю дочка, почему замолчала?
- Помнишь, года полтора назад мы жили на даче у Шеппи.
- Конечно, помню.
- Пошли мы с Джеммой гулять и тогда со мной... случилось. Прости, если делаю тебе больно.
- Наташенька, я помню каждый случай. Просто не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
- Этим — ничего. Я просто хочу, чтобы ты вспомнила, как подхватила меня на руки и понесла к дому. Мне тогда уж пятнадцать было, посмотрите, тетя Галя, ведь не совсем худышка. И на Лену посмотрите... Мама, как же ты меня эти сто метров пронесла?

Елена молчала. Потом устало улыбнулась.

- Не знаю. Наверное, на морально-волевых. А если честно, тогда я очень испугалась за тебя. Как представила, что потеряю.
- Лена, ну не надо, не плачь, пожалуйста. А то я тоже заплачу.
- Эй вы, белуги, прекратить, — начала было Галина, и вдруг ее словно осенило:
- Леноч, ты сказала, что правду говорить легко и приятно. Тебе скоро сорок, а я жду не дождусь, когда на пенсию выйду — год еще остался. Может, действительно, что не понимаю...
- О чем ты, Галка? Хочешь, чтобы я доказала, что правду говорить легко и приятно?
- Именно. Ну не верю, прости, не верю, что твоя вчерашняя реакция вызвана приходом сюда Покровского. Да пусть он хоть сутками под кустами в засаде сидит... Ты — добрая, понимающая... Нет, тут другое. Вот я и пытаюсь понять. Влюбилась?
- Боже тебя сохрани. Не мой вкус.
- Верно. Что остается?
- Интересно, интересно... Ты сейчас подключаешь интуицию или логику?
- Третье — женский опыт.
- И что же он тебе подсказал?
- Что есть очень серьезная причина твоих... твоего поведения в отношении Покровского.
- Мама, Галина права? — подняла глаза на Елену дочь.

Молчание было долгим.

- Есть, — чуть слышно произнесла наконец Ермолова, — только я не могу... пока... рассказать.

Пожалуйста, простите: мне надо побыть одной.

Сказав это, Елена вскочила и побежала по крутой лестнице на второй этаж. Навстречу ей спускался всеми забытый Тихон. В одной руке у него была книга, в другой пустой стакан. Спустившись вниз, он подошел к столу и поставил стакан почти на самый край.

— Тихон, убери стакан от греха подальше, — почти на автомате сделала ему замечание Галина, думая о другом.

Мальчик понял, о чем идет речь и подвинул стакан ближе к середине.

— Теть Галь, я убрал стакан, посмотри, он до греха не достает?

* * *

— Фу, а я думал, что опоздал! — фотограф местной газеты Саша Ремизов вошел, вернее, ворвался в редакцию, как это мог делать только он: кепка набекрень, куртка застегнута не на те пуговицы, кофр расстегнут. И, словно бегущая впереди своего хозяина — улыбка. Широкая, как у чеширского кота, правда, у Саши, в отличие от него, ощущался явный дефицит зубов. Но, как видно, Ремизова это ничуть не смущало. Вот и сейчас он одарил ею собравшихся на традиционную редакционную летучку коллег.

— В пятницу же зарплата была, неужто забыл? — меланхолично отозвался сидевший в самом дальнем углу Орлов.

— Точно, Олегович, забыл. Интересно, с какой прической сегодня твой тезка придет?

— Мария Михайловна, — наклонилась к уху своей соседки молодая и очень симпатичная девушка, — о какой прическе идет речь?

— Вы уже три месяца работаете у нас, Ксюшенька. Журналист обязан быть наблюдательным. Это его хлеб.

— Вот всегда так: хочешь спросить, а тебе в ответ нотацию....

— Не обижайтесь, Ксения Леонидовна, да и не нотация это, а скорее совет.

— Еще скажите, что дружеский.

— Вы сомневаетесь?

— После той летучки, когда вы от меня живого места не оставили, да.

— Вот оно что...

Слышавший разговор женщин Орлов, отложил газету, поднялся и подошел к ним, несколько демонстративно не вынимая рук из карманов брюк.

— Если я не ошибаюсь, вы по образованию учитель начальных классов?

— Не ошибаетесь, Владимир Олегович. Мэтр будет упрекать дилетанта?

— Не будет. Вообще-то журналистике нельзя научиться. Либо ты родился журналистом, либо нет. Вот Мария Михайловна по образованию ветеринар, если я не ошибаюсь, но лучшего зав

отдела писем я не видел, честное слово. Наш редактор, Владимир Николаевич, педагогический заканчивал, как и Лариса Ивановна. Тут с журналистскими дипломами только я да Антонина Сергеевна...

Невысокая худенькая темноволосая женщина, услышав свое имя, улыбнулась:

— Володя, а что же ты Галю забыл?

— Вот ее то он забыть не может, — не дав ему ответить мгновенно среагировала девушка, которую называли Ксенией Леонидовной, — а меня простить...

— Глупости изволите говорить, барышня. Не скрою, мне действительно обидно за Галю — она прекрасный журналист, но блат — вечен, как этот мир. Не будь вас, нашелся бы кто-нибудь другой. Все дело в самом Князеве. Посмотрите, сколько нас, журналюг. А вот где он такого корректора в Энске найдет?

— Тогда почему вы ко мне придираетесь? И вы, и Мария Михайловна. Даже этот Ремизов вечно подкалывает. Потому что мой отец сам Тяпкин.

В комнате раздался смех.

— Как вы сказали, барышня? Сам Тяпкин? Это надо записать.

— Володя, помолчи, дай я попробую убедить Ксению Леонидовну, что никто к ней и не собирался придираться.

— Попробуй, Михайловна.

— Спасибо. Ксения Леонидовна, извините за высокопарность, но дело, которому служишь, надо любить. Тогда оно полюбит тебя.

— Хотите сказать...

— Не хочу, а скажу, ибо давно наблюдаю за вами. Вам здесь скучно, вы словно повинность отбываете... А то, что пишете, без слез читать невозможно. Но если нужен совет — спросите. Любой из нас поможет вам...

— А вот Владимир Николаевич меня хвалит...

На этот раз улыбнулась даже обычно невозмутимая Лариса Ивановна. Остальные просто веселились от души.

— Ксения Леонидовна, милая, да неужто вы не понимаете, что если даже напишите полную лабуду, Князев будет вас хвалить? Вы же любимая дочь самого Леонида Павловича Тяпкина, друга и помощника всесильного главы энского района Абакумова.

— Я не понимаю...

— Ой, Ксения Леонидовна, только вот этого не надо!

— Михайловна, а может барышня и впрямь не понимает.

— Тогда объясняй ты.

Орлов стоял перед женщинами все в той же позе — нога за ногу, руки в карманах брюк. Он уже собирался открыть рот, как в притихшей комнате раздался голос Галины Аркадьевны, до этого тихой мышкой сидевшей за книжным шкафом.

— Володя, не надо ничего объяснять. Пожалуйста.

— Да не буду я ни о чем жалеть, радость моя. Вот я тут о любви к профессии распекался, а ты знаешь, мне уже давно стыдно за то, что я журналист. Стыдно за газету, которую мы делаем.

— Не тебе одному, друг, — одарил коллег неполноценной чеширской улыбкой Саша Ремизов.

— Так хоть здесь пар выпущу... Но — продолжим. — Орлов вновь повернулся к Тяпкиной. — Ксения Леонидовна, посмотрите на часы.

— Десять тридцать.

— Полтора часа мы ждем начальника. В пятницу его уже в полдень на работе не было. И если бы не его заместитель...

— Да ладно тебе, Орлов.

— Помолчи, Лариса Ивановна. Это только Ксения Леонидовна не видит, кто, собственно, выпускает газету. Я тоже не безупречен. Скажу больше: перед вами пьяница. Бытовой пьяница. Вчера я пил, но вчера было воскресенье. Выпью и сегодня, но — вечером. И никто и никогда не увидит меня дошедшим до положения риз. Повторюсь, Ксения Леонидовна, я — бытовой пьяница. И пью не потому, что не могу не пить, а потому что жить, как мы живем, тошно. Увы, пока никто лучшего лекарства от тоски не придумал. А вот наш с вами начальник — просто алкаш. По большому счету мне его жалко. Его лечить надо. Вот вы спросили у Марии Михайловны, о какой прическе идет речь. А речь шла о прическе Владимира Николаевича, точнее, о его чубе. Когда хозяин чуба трезв, чуб спокойно лежит на высоком князевском чале. Правда, сам Князев, когда трезв, злой как собака. Тогда к нему лучше не подходить. Но стоит хозяину «принять», как чуб моментально принимает боевую стойку.

— Ой, точно! Только вот я никогда не видела, как чуб лежит. Ой! — и Ксения Леонидовна закрыла ладонью рот.

Смех, который вызвала реплика Тяпкиной, стал без преувеличения гомерическим.

— А я вот видел, год назад, — гордо объявил Ремизов.

— Да ладно тебе врать.

— Не вру, Олегович. Помнишь, Абакумов какой-то прием делал в «белом доме»? Лучшие люди района, грамоты и прочая дребедень. Я должен был их всех сфотографировать.

— А, вот ты о чем...

— Дай расскажу всем.

— Да все знают.

— Я не знаю, Владимир Олегович. Расскажите, Саша.

Ремизов благодарно показал Ксении все свои восемнадцать зубов.

— Так вот, закончилась вся эта официальщина, спели — станцевали, а потом — фуршет. Для узкого круга. Еды почему-то не много, а водки полно. Всех сразу предупредили — на все про все — двадцать минут. Пролетели они не заметно

— Еще бы! — хмыкнула Мишина.

— Нет, Ивановна, я был в норме. Пьешь же, чтобы общаться. Этому слово, тому, короче, и двух рюмок не выпил. И вот нам говорят, мол, освобождай, народ, помещение. Ну, мы люди послушные, приказали — сделали. Спасибо и за это. Я выхожу и вижу сцену, которую мне никогда не забыть: стоит Князев, спиной ко всем, будто, одевается, а у самого полная бутылка и фужер для вина. Наливает полный — бабах! Не закусывая, тут же второй. Бабах!

— Мне почему-то сейчас герой Шолохова вспомнился, — заметила Мария Михайловна. — Помните: «Я после первой не закусываю».

— Во-во. Мне тогда тоже. Только наш герой и после второй, и после третьей, и после четвертой.

— Врать-то не надо...

— Олегович, не обижай. Пока он шарф и пальто одевал, полбутылки опорожнил, пока шапку и перчатки — вторую половину.

— Ужас! — было видно, что Ксюша искрення в своих чувствах.

— А все почему, Ксения Леонидовна. Спросите меня, почему?

— Почему, Саша?

— Потому что халява! А наш Князев это халявщик из халявщиков. Представляете, ему уходить, а бутылка — полная! — стоит. И с собой не взять... Но я продолжу. Вышли мы с ним...

— Перебью вас, — это была Галина, — я эту историю тоже не слышала: когда он выпил... когда все уже...

— Нет, не закусил Галина Аркадьевна. Зачем? Закусь градус крадет. О чем бишь я... Да, вышли, попрощались. Прихожу домой, ужинаю...

— Ты еще расскажи, как зубы чистишь...

— Не перебивай, Владимир Олегович, к самому интересному подхожу. Ночью — звонок. Чертыхаясь, беру трубку. Женский голос: «Где мой муж?» «Вы че, — отвечаю, — дамочка, у меня нормальная ориентация. Нет здесь вашего мужа». В ответ слышу: «Я тебе не дамочка, Ремизов, я Валентина Петровна Князева. Где мой муж? Говорят, что ты его последним видел». Все, все, заканчиваю. Есть грех — подробен. Короче, нашли мы его за домом культуры, где пьянка была, то есть награждение. Прошел он метров двести и упал в скверике. Замертво. А под ногами каша. Утром наш Николаевич глазенки открыл — и нечего понять не может. На родную кровать не похоже. Пытается встать, — что-то его держит. А просто утром морозец ударил, и каша льдом стала, вместе с князевским чубом. После этого у Владимира Николаевича чуб целую неделю висел...

— Просто ему Валентина Петровна такого прочесону дала, что чубу не с чего было подниматься, — заметила Лариса Ивановна.

— Он, наверное, заболел сильно? — подала голос Галина.

— Кто? — не понял сразу Ремизов. — Князев что ли?

— А то кто же? Он же целую ночь... на снегу...

— В кашнице.

— Тем более...

— Даже гриппа не схватил, Галина Аркадьевна! Гвозди бы делать из этих людей. Не то, что нынешнее племя.

— Свои пять копеек в копилку положу, — это был уже Орлов. — Тебя, Санек, тогда у нас еще не было. Редакторствовал покойный Зотов, Владимир Николаевич у него в замах ходил, партийную жизнь в газете вел. Да и вообще мужичков у нас тогда поболее работало. Дим Димыча помнишь, Ларис?

— Мы в одном кабинете сидели, как не помнить. А вот молодой еще был...

— Костя Рябов. Он потом в Москву подался.

— А назывались мы тогда не «Энская заря», а «Заря коммунизма».

— Верно, Лариса Ивановна. А говоришь, на пенсию пора. Вон память какая.

— Издевайся, издевайся, Орлов. Ты вообще что-то рассказать хотел...

— Ну, я как бы представил молодежи героев моего рассказа. Был, как сейчас помню, день журналиста. Стало быть, пятое мая. Нам из области какую-то грамоту дали, короче, отметили мы сию грамоту славно. Водка лилась рекой. Николаевич в своем репертуаре. Ближе к концу про закуску совсем не вспоминал, пил одну за другой. Расходиться по домам, видим, а он совсем плохой. Зотов мне и Костику, как самым молодым, дает команду: «Проводить человека до дома». Приказ есть — подхватываем Князева под руки, а он тогда совсем легкий был... Одним словом, довели мы его до квартиры, позвонили... Кто не знает: живет он с домочадцами на пятом этаже в микрорайоне. Сейчас такие дома хрущобами называют, а мы, помню, гордились, что у нас в Энске такие громадины появляться стали — целых пять этажей! Разбираться с Валентиной не хотелось, позвонили, значит, мы, поставили перед дверью — и бегом вниз. Человека проводили, что еще надо. Вышли на воздух и вдруг слышим грохот. Что-то катится. Звук был такой: бух, бух, бац! Бух, бух, бац! Мы открываем входную дверь, и к нашим ногам выкатывается Владимир Николаевич Князев собственной персоной. Оказывается, это он кубарем с пятого этажа по лестнице съезжал. Так что же вы думаете? Весь урон — только разбил очки. Даже синяков не было. Силен, подлец, а?

В этот момент дверь резко распахнулась, и в комнату уверенными шагами вошел невысокий худенький человек, скорее даже — человечек. Чуб у него стоял под углом девяносто градусов, как у панка.

— Подлец, это кто, Орлов? Всем привет. О ком говорили?

— О ком же нам еще говорить? О Пушкине. Дантес, подлец, такого поэта нас лишил.

— Врешь небось. Где Пушкин, а где мы.

— Владимир Николаевич, февраль не за горами, юбилей гибели будем отмечать.

— А что, было указание?

— Так ведь Пушкин — солнце русской поэзии. И по неподтвержденным, правда, данным, мог проезжать наш город, когда ехал в южную ссылку.

— Лариса Ивановна, Орлов говорит правду?

— Так это он у нас краевед, откуда я знаю, проезжал здесь Пушкин или нет. Я старая, конечно, но не настолько же, чтобы такое помнить.

— Тише! Шутники. Я про указание спрашиваю... Ладно, давайте летать. Кто сегодня обзорекает... тьфу! — кто сегодня обзорекает газету?

— Я Владимир Николаевич.

— Начинайте, Ксения Леонидовна.

— Так. Первая страница. Большой снимок. Григорий Алексеевич Абакумов разговаривает с фермером Кожуховым... Хороший снимок. Лица не казенные, живые...

— Умеешь, Ремизов, когда захочешь.

— Я всегда хочу, Владимир Николаевич.

— Молчи. Продолжайте, Ксения Леонидовна.

— Колонка новостей... Ничего особенного. Вторая страница. Большой снимок. Григорий Алексеевич Абакумов выступает перед учителями района. Хороший снимок...

Этот обзор стал самым кратким в многолетней истории сначала «Зари Коммунизма», а потом «Энской зари». Перед журналистами, уже не с газетных страниц, а собственной персоной, предстал Григорий Алексеевич Абакумов. Появление главы района да еще в сопровождении Тяпкина вызвало самый настоящий шок у мирных тружеников пера. Одиннадцать лет Абакумов руководил районом, а в редакции побывать та ни разу и не удосужился... И вот такое неожиданное появление.

— Гри... Алекс... К нам?

Князев на какое-то время лишился дара речи, а затем он произнес несколько фраз, которые благодаря длинному языку Ремизова вскоре стали крылатыми в Энске:

— Сподобил, Господь. Лучший день в моей жизни. Только куда бы мне вас посадить...

— Да ты уж посади куда-нибудь. — Это был Абакумов.

— Вы меня не поняли, Алексей Григорьевич, то есть Григорий... У нас стулья плохенькие, не для ваших...

— Ну-ну, продолжай. Даже интересно.

— Вы меня не поняли, — Князев чуть не плакал, — я хотел сказать не «не для ваших», а не для вас. Они недостойны вас. Вот.

— Кто?

— Стулья.

— Почему?

— Плохенькие они.

— А я?

— А вы хороший. Сподобил Господь.

Журналисты, все как один, сидели, угнув головы, еле сдерживая себя. Вот-вот могла начаться массовая истерика.

— Мама, не могу больше, — прошептала Антонина Сергеевна.

— Крепись, — также шепотом откликнулся Орлов, — вот я же... «А вы хороший».

— Слушай, Леонид Павлович, мы часом не ошиблись адресом? Это газета?

— Да вроде газета.

— А я думал — цирк. Клоун в наличии, — и Абакумов показал на несчастного Владимира Николаевича. — Господь его сподобил. Зрители ржут, как лошади... Сейчас, впрочем, вам всем не до смеха будет...

— Вы меня не поняли...

— Все, умолкни, паяц! Леонид Павлович, начинай.

— Слушаюсь, Григорий Алексеевич.

Тяпкин уже открывал портфель из прекрасной кожи.

— Вот. — Он двумя руками, всем видом демонстрируя высшую степень брезгливости, достал из портфеля какую-то газету. — Даю честное слово, сегодня я буду мыть руки с мылом...

— А вы их что, без мыла моете? — простодушно спросил Ремизов.

— Ты над кем издеваешься?! — вдруг заорал Князев. — Выйди вон отсюда.

— Какой цирк? Дурдом, — констатировал Орлов. Сказано было тихо, но это слышали все.

— И ты — вон!

— Подожди, клоун. Не пори горячку. Разпосылался. Они мне здесь нужны. Леонид, продолжай.

— Слушаюсь, Григорий Алексеевич. Даю честное слово, сегодня я буду...

— Ты это уже говорил. Будешь мыть руки с мылом.

— Потому что я держал в руках этот поганый листок. Это, так называемый «Рубеж», выходящий в областном центре. Издание, для которого определение «желтая пресса» будет комплиментом. Этот номер датирован сегодняшним числом. В нем статья.

С тем же выражением лица, будто он достает из супа лягушку, Тяпкин развернул газету.

— Точнее, статейка — подлая, лживая, гнусная. Автор, некто И. И. Иванов, не мудрствуя лукаво, назвал ее «Энские были».

— Где? — опять подал голос Ремизов.

— Что?

— Где были энские?

— В газете, Ремизов, в газете. Статейка «Энские были».

— Это я понял, а где они были?

— И это четвертая власть... Идиот! Не были, а были. В смысле — быть. Правда.

— Так значит статья правдивая?

— Леонид Павлович, — поднялся Абакумов, — они совсем не идиоты. Ты к их совести достучаться пытаешься, а эта братия над тобой издевается. Дай мне газету.

Абакумов встал с развернутой газетой так, чтобы его могли видеть все:

— А теперь — быстро: кто писал? Я жду.

Наступила тишина, которую в русском народе принято называть мертвой. Ее нарушил робкий голос Князева:

— Григорий Алексеевич, у меня два вопроса. Мы так и не поняли, о чем статья. Можно мы ее прочитаем сейчас? И еще, газета же областная, наверное, писал кто-то из их журналистов...

— Это ты свои мозги, Князев, давно пропил, а вот другие сразу все поняли. Я прав, Владимир Олегович? Только в глаза, в глаза мне смотрите.

— Понятно, вы Каа, а я бандерлог.

— Я глава Энского района, а ты борзописец, который ради красного словца не пожалеет и отца.

— Вот оно как. Ну что ж, в глаза так в глаза. Статью читал, сегодня утром.

— А мне сказали, что в киосках она появилась всего полчаса назад...

— В киоски не хожу, читал в интернете, электронную версию газеты. Читал, но не писал.

— Так я ведь все равно узнаю, раньше или позже. Лучше сознайся.

— Пожалеете и простите?

— Никогда. Убивать буду быстрее, без мучений.

— Да что вы такое говорите?! — вспыхнула со своего места Галина. — Как вы смеете?!

— Смею, дамочка, смею. В этом районе я хозяин. Понятно? Значит так, Князев, — Абакумов повернулся в сторону главного редактора, — даю тебе семь... нет, три дня. Через три дня ты

должен быть у меня в кабинете с автором пасквиля.

— А если он... автор не найдется? — пролепетал Владимир Николаевич.

— Хороший вопрос. Тогда приедешь один. За выходным пособием. Еще вопросы есть? Покеда, клоуны.

— Пойдите, Григорий Алексеевич. Пожалуйста.

— Что еще, Князев.

— Есть мысль.

— Ну-ну.

— Мне рассказывали, что в монастыре живет писатель.

— Писатель?

— Да, из Москвы вроде. Скоро месяц, как живет.

— Говори.

— Ходит, смотрит, расспрашивает...

— Леонид Павлович...

— Я понял, Григорий Алексеевич. Поработаем.

— Знаешь, что меня в тебе удивляет, Князев?

— Не знаю, — подобострастно улыбнулся Владимир Николаевич.

— Ты вроде жалкий такой, а до чего живучий... Но про три дня я не шутил, — и с этими словами покинул помещение. Тяпкин последовал за ним.

* * *

— Слушай, дочка, а не устроить ли нам себе сегодня праздник? Испечем шарлотку, пригласим Галину, Тихона с мамой.

Наташа улыбнулась.

— Подлизываешься, Елена Евгеньевна?

— Если и да, то самую малость. Просто сидим, как две нахохлившиеся птички...

— Птички-невелички. Нет, Лена, не получится.

— Что не получится?

— Праздника. Он или есть, или его нет. А если на душе пасмурно, ни шарлотка не поможет, ни даже великий остроумец Тихон.

— Послушай, дорогая, — Елена села на диван рядом с дочерью и взяла ее ладонь в свои

руки, — ну, хорошо: за многое из того, что я сказала тогда мне стыдно.

— Правда?

— Сущая. А чему ты так обрадовалась?

— Твоим словам. Теперь осталось совсем немного: пойти к нему и сказать об этом.

— Ему?

— Да.

Вот так пойти — и сказать?

— Пойти и сказать: простите, ради Бога.

— Наташенька, я все понимаю, кровь сказывается, и все такое...

— Какая кровь? — удивилась девушка.

— Это так, вырвалось. Я всегда думала, что мы с тобой понимаем друг друга...

— А разве нет?

— Тогда пойми: он ведь тоже обидел меня. И очень сильно. Ему должно быть стыдно?

— А ему стыдно.

— Серьезно?

— Лена, милая, ты опять начинаешь...

— Не стесняйся, говори. Заводиться?

— Волноваться.

— А что мне остается делать? Всегда думала, что дочь обязательно будет на моей стороне...

— Даже если ты не права?

— Но ведь он тоже обидел меня. В конце концов, если этот писатель — мужчина, то он должен придти первым и извиниться. Ну, а потом и я ... может быть.

— Смешная ты, Лена, — неожиданно Наташа наклонилась и поцеловала матери руку. Та смутилась:

— Телячьи нежности... Теперь ты подлизываешься?

— Представь, — Наташа, словно не услышала последних слов Елены, — тебе нужно купить хлеб. Пошла ты в магазин, а там очередь. Что ты делаешь?

— Разумеется, становлюсь в эту очередь.

— А если впереди тебя мужчина, ты попросишь его уступить тебе свое место? Ведь ты же женщина...

— Нашла с чем сравнивать. Это совсем другое дело...

— Почему, Лена?

— Слушай, не люблю, когда ты так на меня смотришь... И вообще, какая-то ты в последнее время стала назидательно-умная. Вот. Все-таки я мать, ты дочь. А старших надо уважать...

— Ты же знаешь, что я старше тебя, Лена...

Они замолчали. Надолго. Наконец, Елена встала с дивана.

— Ох, эти твои аллегории...

— Знаю, у Елены Евгеньевны от них аллергия. Ты куда уходишь?

— Скоро буду... Да не переживай, просто я хочу в очереди за хлебом стать впереди мужчины.

— Какая ты у меня молодец!

— А вот этого — не надо. Лучше займись шарлоткой. Праздник все-таки состоится. Мне так кажется.

* * *

До монастырских ворот оставалось совсем ничего, когда Елена заметила, что из них вышел какой-то человек. Она еще не разглядела лица, но уже знала, что это — Покровский. Писатель шел, угнув голову вниз, он бы прошел мимо, не заметив Елены, если бы молодая женщина не окликнула его.

— Арсений Васильевич...

— Да. Ой, это вы? Не поверите, а я к вам шел.

— Вы хотели сказать, к Наташе.

— Именно к вам. Извелся за эти три дня. Хотел прощения у вас попросить.

— Бойтесь, что не дам возможности общаться с дочерью?

Покровский удивленно посмотрел на Елену.

— Звучит как-то двусмысленно... Просто, когда остыл, стыдно стало.

— Нормально звучит. Опять притворяетесь, вы же знаете... Впрочем, стоп. Сначала я тоже хотела бы извиниться перед вами.

— Принимается, — очень просто сказал Арсений и улыбнулся. Но ответной улыбки не дождался.

— Я это сделала ради душевного спокойствия дочери...

— Но ведь сделали же...

— Значит так, нам нужно очень серьезно поговорить.

— У меня в келье не очень.

— Нет, — резко возразила Елена, — об этом не может быть и речи. Будем общаться на нейтральной территории.

— То есть к себе вы меня не приглашаете?

— Это совершенно исключено.

— Жаль.

— Я же сказала: на нейтральной. Поверьте, у меня есть на это веские причины. Самое обидное, что вы все знаете и продолжаете притворяться несведущим.

— Хорошо, хорошо, вы меня совсем запутали. В качестве альтернативы предлагаю кладбище.

— Вы шутите?

— Отнюдь. Тихо, спокойно. Есть там милая скамеечка...

— Вечером на кладбище не ходят.

— Ой, да вы суеверны. А я вот хожу. Думается там хорошо. Глядишь, и мы все наши проблемы решили бы...

— Хотелось бы. Ладно, пошли на вашу скамеечку.

— Слава Богу, она пока еще не моя...

* * *

— Вот, посмотрите, вам никого эта девушка не напоминает? — Елена протянула Покровскому фотографию, которую только что достала из сумки.

— Нет, — уверенно ответил Арсений.

— Не слишком ли вы мало смотрели?

— Послушайте, если бы я сомневался, смотрел дольше. Это лицо я вижу в первый раз. У меня, знаете ли, очень странная память. Забываю многое, а лица встреченных людей запоминаю навсегда.

— Надо же...

— Да, это профессиональное. Уже холодает, Елена...

— Евгеньевна...

— Елена Евгеньевна. Давайте по существу.

— Хорошо. Перед вами моя старшая сестра, Екатерина.

— Надо же, сплошные буквы «е».

— Точно подмечено. Если еще сказать, что фамилия наша Ермоловы, а отца звали Евгений

Егорович, то будет понятно, каким затейником был наша папа, царствие ему Небесное.

— А маму, случаем, не Елизаветой зовут?

— Нет, Наташей. Натальей Ивановной. С той стороны у нас все проще. Хотя мамочка у нас натура тонкая и даже артистичная...

— Она жива?

— Слава Богу. Катюша вся в маму пошла. И лицом и характером.

— Можно еще раз посмотреть фотографию?

— Пожалуйста, может, вспомните.

— А вы, наверное, на папу похожи?

— Точно.

— Значит, счастливая.

— Да уж, счастья столько... Послушайте, Арсений Васильевич, вы своими вопросами меня постоянно отвлекаете. Мне, между прочим, тоже холодно. Давайте все выясним — и закончим.

— Вы хотите сказать — заочнеем.

— Значит, с моей сестрой вы не знакомы?

— Не знаком.

— А название города — Среднеокск — вам что-нибудь говорит?

— Разумеется, если я проходил его в...

— 1991 году.

— Точно, в 1991 году. А откуда вы знаете?

Елена грустно улыбнулась:

— Я знаю не только это. Теперь вспомнили?

— Среднеокск? Да.

— Екатерину Ермолову.

— Я же вам сказал, что не встречался с ней ни разу. Слушайте, я начинаю нервничать. Уже понял, что Энск — город чудес, но если еще и Среднеокск...

— Хорошо, что нервничаете. Так вам и надо. Девушка отдала вам самые светлые чувства, более того, родила вам ребенка... Молчите? Теперь узнали, что Наташа выросла, приехали утверждать отцовство?

Неожиданно Елена разрыдалась. Покровский, не успокаивая ее, сидел молча, невидящим взглядом уставившись на старинное надгробье.

— Почему... почему... вы... вы молчите? — повернулась к нему Елена.

— Почему молчу? Представьте себе, на вас падает стена...

— Какая стена?

— Бетонная. Бац! — и на голову. Сначала. А потом на все остальное. И вас плющит. Вот и меня сейчас... плющит. — А затем Арсений безо всякого перехода и паузы добавил:

— Бедная!

— Кто?

— Не стена же! Моя голова. Шучу: вы. Теперь понимаю, почему Елена Евгеньевна так на меня всегда реагировала... Хорошо, я действительно надеюсь, что совсем скоро успокою ваше сердце, но прежде несколько вопросов. Можно?

— Конечно.

— Что ваша сестра делала в Среднеокске летом 1991 года.

— Почему летом? Она приехала туда на работу в ... ну правильно — в последних числах августа. Еще лето было. Хотя вы встретились в сентябре, после концерта.

— Уже веселее. А после какого концерта, простите?

— Катя преподавала фортепьяно в местной музыкальной школе. Она сама выбрала Среднеокск, говорила, что любит тихие и старинные русские города.

— Ну не такой уж Среднеокск тихий...

— Да, она это тоже быстро поняла. А как же вы могли забыть свой концерт? Хотя это, наверное, было просто выступление перед читателями. Стихи вы читали, Арсений Васильевич, свои стихи. Катя подарила цветы...

— Мне?

— А кому же еще? Вот как в Энской библиотеке дарили девицы, так и в Среднеокске. А потом вы попросили показать ее город. Она, дурочка, и согласилась...

— Почему — дурочка?

— А потому, что не всегда хороший поэт — это хороший человек. Потому что и подумать не могла сестренка моя, чем закончится ваша прогулка под луной.

— Вы и про луну все знаете?

— Представьте себе! Сколько лет храню ее письмо, где она описывает тот вечер... Мы ведь близки очень были. Мама даже обижалась, что друг другу доверяем больше, чем ей.

— У вас с собой это письмо? Ну, смелее. Я же знаю, вы принесли его.

Поколебавшись, Елена полезла в сумочку.

— Хорошо. Вот оно.

Покровский начал читать: «Здравствуй, моя милая Аленушка!»

— Про себя читайте. Пожалуйста.

— А откуда я знаю, когда про меня начнется?

— Про себя, значит не вслух.

— А-а, теперь понял.

Арсений успел заметить, что его слова вызвали у Елены мимолетную улыбку. Впрочем, улыбка также быстро погасла, как и появилась.

— Теперь мне все понятно.

— Что понятно?

— Я же сказал, все. Деталей не хватало, и вот теперь они появились.

— «Детали!» Я и забыла, что вы Шерлока Холмса с детства любите.

— А откуда? Ах, книги... Значит, читали? Приятственно. Скажите, а мои дорожные заметки за тот, 1991 год, читали?

— Разумеется. И удивилась. Про какой-то кустик — страницы, а про посещение Среднеокска — десять сухих строк. О моей бедной Кате — ни слова.

— Сейчас все прояснится, Елена Евгеньевна. Пожалуй, самый главный вопрос: что случилось потом? Ведь случилось же, если...

— ... Если мамой Наташа называет меня? У сестры было больное сердце — врожденный порок. Наша мама, Наташина бабушка, рассказывала, что врачи говорили, мол, проживет Катюша лет четырнадцать, не больше. А она двадцать прожила. Рожать ей нельзя было. Категорически.

— Аборт же она делать отказалась...

— Да, столь же категорически... Дальше, думаю, можно не продолжать?

— Почему же... Чувствую, вы что-то не договариваете.

— Правильно чувствуете. Мы с сестрой погодки. Но и внешне, и по характеру очень разные. Она — тихая, мечтательная, а я всех мальчишек соседских гоняла. В институте у меня роман приключился. С той поры верю в сглаз. «Какая будет пара!» — только и слышала.

— Он вас бросил?

— Нет, бросила его я. На последнем курсе забеременела.

— Понятно...

— Да ничего вам не понятно! Извините. Просто не люблю показную душевность.

— Вам виднее.

— Обещали что-то прояснить, а сами в душу лезете. Ладно, только ради памяти Катюши, надеюсь, и вы будете со мной также откровенны...

Мой принц соловьем заливался. Рано, говорил, хомутом нам обзаводиться. Молодые еще, успеем. И вот то, что не сделала Катюша, сделала я, здоровенная деваха... осталось досказать немного: аборт делала подпольно, у одной бабки: боялась родителей. Короче, детей у меня больше не будет. Через год-другой принц мне заявил, что без детей свою жизнь не представляет — и смотался в неизвестном направлении.

— Катя умерла во время родов?

— Сразу же после них. Врачи очень старались, но... Наташенька получила в наследство мамин характер и очень слабое здоровье.

— Сердце?

— Нет, у нее другое... Впрочем, это уже совсем другая история и вас она, надеюсь, касаться не будет.

— Зря надеетесь.

— То есть? Вы же уверяли... Что, вспомнили?

— Елена Евгеньевна, если я оказался в Энске, если нас свела судьба, значит...

— Она нас не сводила.

— И на кладбище не мы с вами сейчас сидим... Ладно, думайте как хотите. Теперь мой рассказ. В те годы я только начинал ходить по России. Знакомых еще было мало. Если приходил в какой-нибудь город в будний день, то ночлег находил. Помогали коллеги из местных газет. В выходные сразу искал гостиницу. В Среднеокск пришел поздним вечером. Погода была чудесная, середина июля...

— Какой июль?

— Теперь не перебивайте. А вот такой — макушка лета. Где-нибудь в поле ночевать — одно удовольствие. А тут город, да не маленький. Я в одну гостиницу — она на ремонте. Во вторую, там другая напасть: у какого-то постояльца то ли чесотку, то ли еще какую заразу нашли, вот гостиницу и закрыли на санобработку. Потопал на вокзал. Хорошо хоть его на ночь не закрыли. Нашел я свободную скамейку, положил рюкзак под голову и уснул сном младенца. Правда, через четыре часа разбудили, но это уже другая история. На этом, собственно, мое знакомство с Среднеокском закончилось. Что еще? Стихи я никогда не писал. Это правда, Елена Евгеньевна, на делайте такие глаза. Исключительно занимаюсь прозой. А вот выступать, как вы выразились, с концертами ваш покорный слуга начал только десять лет спустя. В Среднеокске же так и не выступил... Ну, и последнее. Еще раз достаньте письмо... Спасибо. Прочитайте, пожалуйста, вот здесь. Вслух, если можно.

— «Катенька, если бы ты знала, какой чудесный человек Арт...»

— Ну-ну, что же вы замолчали?

Ермолова перевела растерянный взгляд с листка бумаги на Арсения, потом опять на письмо.

— «... какой чудесный человек Артемий Покровский»?

— По-моему, в письме нет знака вопроса... Бр-р, кажется я замерз.

— Арсений Васильевич...

— Пойдемте, я провожу вас, если вы не возражаете.

— Арсений Васильевич, простите меня, пожалуйста.

— Да ладно вам, — неожиданно засмутился Покровский. За все время своего недолго общения с Еленой у него сложился определенный образ, прямо скажем, не очень для него симпатичный, несмотря на внешнюю привлекательность этой женщины. И вдруг нескольких секунд хватило, чтобы забылись и ее резкость, насмешки и даже прямая грубость. Покровский собирался сказать что-то типа: «Зато вы теперь понимаете, как важны в нашей жизни мелочи?», но посмотрев на Елену, промолчал. Она же встала, как-то по-детски шмыгнула носом, а затем спросила:

— Скажите, а как вы относитесь к шарлотке?

* * *

Минут десять они шли молча. Каждый думал о своем. Первым заговорил Покровский.

— Как вам живется в Энке? Не скучно?

— Вы спросили потому, что это вам действительно интересно, или чтобы прервать затянувшееся молчание?

— Считайте, что и то — и другое.

— Нет, нам не скучно, тем более, что Наташа сама выбрала этот город. Мы взяли и поехали.

— Прямо вот так взяли — и поехали?

— Да, вот так взяли — и поехали. С неделю пожили на квартире, потом купили дом. Точнее, его часть, дом, как вы видели, очень большой.

И вдруг Елена улыбнулась:

— Чем не персонажи для нового романа? Странная девочка, ее сумасшедшая то ли тетка, то ли мать. Я не права?

— Не правы. Никогда не рассматривал встречавшихся на жизненном пути людей, как материал для книг. На самом деле все сложнее...

— Мне интересно, говорите.

— Они потом приходят на страницы сами, не спрашиваясь меня. Я могу много чего насочинить, приукрасить, но в чем-то главном солгать...

— Не умеете?

— Даже не так. Что-то не дает.

— Что-то или Кто-то?

Покровский остановился.

— Простите, но у меня нет ответа на ваш вопрос.

— А вы зря извиняетесь. Я даже рада. А то у меня поначалу сложилось впечатление, что вы знаете ответы на все вопросы.

— Это не так, уверяю вас. Да и вообще по жизни мне ближе позиция Сократа.

— Я знаю, что ничего не знаю?

— Да.

Они пошли дальше.

— Арсений Васильевич...

— Я слушаю вас.

— Сегодня вы будете общаться с Наташей... Вы человек гордый...

— Я?

— Не спорьте, гордый. Я тоже. Поэтому нам так непросто друг с другом.

— К тому же мы однополярные.

— Мы?

— Не спорьте, однополярные. Оба — с северного полушария.

— Все бы вам шутить... Наташа очень ... своеобразный человек. Доброты необыкновенной.

— Вы меня начинаете напрягать. Слышали историю, как одного человека подготавливали к смерти его близкого родственника? В результате он сам помер, так и не узнав ничего.

— Не перебивайте. Это очень важно. Наташа удивительно... в этом мире говорят: прямолинейна. Но это другое. Она никогда не лукавит и говорит то, что думает. Причем, говорит подчас удивительные вещи. К ней даже приходят посторонние люди за советом, я стараюсь не пускать, но, тем не менее — приходят.

— Я, кажется, понимаю вас. Вы думаете, у Наташи какой-нибудь дар?

Елена только пожала плечами:

— «Какой-нибудь» это звучит ...

— Согласен, не очень. Скажите по-другому.

— У нее дар. Она «видит» людей. Представьте себе такую ситуацию. Стоят две женщины. Несли тяжелые сумки с рынка и остановились возле нашей калитки. А Наташа неподалеку на скамеечке сидит. Одна женщина другой говорит: «Ох, совсем печень замучила! Чего только не пила, не помогает». Вторая ей вторит: «И я хвораю. Ноги никакущие стали. Еле ковыляю». Вот

так жалуются одна другой, а моя не выдержала и говорит: «Все правильно. И будут болеть». Сама покраснела, тетушки на нее удивленно смотрят, мол, что она такое говорит, а Наташа им дальше выдает: «Печень болит, потому что вы к причастию ходите, вам Господь все прощает, священник от Его имени грехи отпускает, а вы одному человеку обиды простить не можете. Столько лет в себе это носите, вот ваша печень и приняла злопамятность вашу на себя».

— Так и сказала?

— Да. Самое главное, женщина та спорить не стала, только сумки выронила. А вторая к забору подбежала: «Доченька, а про мои ножки скажи?» Наташа и ей выдала: «Потому болят, что ходите по городу и рассказываете, какая у вас невестка плохая. Только ведь не вам с ней жить. Не злословьте — и пройдет боль». Ну, и что на это скажете, Арсений Васильевич.

— Интересно. Но, мне кажется, вы и сами к этому отчасти относитесь, как к чудачеству.

— Вот именно — отчасти. С одной стороны — вся ее жизнь у меня перед глазами, с первых часов до сегодняшнего дня. С другой...

— Что же вы замолчали?

— Это началось после последнего... Ну, не смотрите на меня так! Не хотела я о болезни Наташи вам говорить.

— Почему?

А если, узнав, будете к дочке по-другому относиться? Она совершенно не выносит жалости. Кстати, вспомнила. Готовьтесь к выволочке. Помните, в вашей книге герой о «Мастере и Маргарите» рассуждает?

— Мне ли не помнить. Наташе показалось, что я ругаю Булгакова?

— Наоборот, по ее мнению, вы ...

Женщина не договорила. Они подошли к знакомому дому, где у калитки, ведущей на половину, где жили Елена и Наташа, их встретил Тихон.

— Ура! Пришли.

— Ты нас встречаешь, друг Тихон? — спросил мальчика Покровский.

— Очень шарлотку хочется. Все готово, а вас нет.

Он подошел к мужчине и женщине, и, не спрашиваясь, взяв обоих за руки, повел их в дом. Елена и Арсений переглянулись.

— Идемте скорей. Меня, между прочим, там комет-гель ждет.

— Что тебя ждет? — переспросила Елена.

— Комет-гель. Специально для меня тетя Галя сделала.

— Я, кажется, догадалась, — улыбнулся Покровский, — друг Тихон имеет в виду гоголь-моголь.

— А я как сказал?

* * *

К удивлению Покровского, кроме шарлотки и гоголя-моголя, на столе он увидел еще очень много чего необычного. Галина, Ирина, мама Тихона, и Наташа с гордостью поглядывали на пришедших. В дальнем углу сидел молодой лысоватый человек. Как догадался Арсений, это был Михаил, муж Ирины.

— Нам заявили, — сказала Ирина, показывая в сторону Наташи, что вы вернетесь вдвоем и...

— И будет великое перемирие. Нет, будет мир. — Наташа подошла сначала к Елене, обняла ее, потом протянула руку Покровскому. Тот очень осторожно пожал ее.

— Не бойтесь, жмите сильнее.

— Какой мир? — Елена была явно растеряна. — Я думала мы тихо, спокойно...

— Так, не командуй, — вступила в разговор Галина, — это наше общее решение. Собрались мы в складчину, повод и впрямь замечательный.

— Какой повод?

— А разве это не повод — два человека нашли в себе силы понять друг друга?

— Галина, прости, но ты как-то стала слишком уж высокопарно выражаться. Знакомство с некоторыми писателями идет тебе не на пользу.

— Говори, говори, а то ты была бы не ты.

— Но ведь вы пришли вдвоем, Лена?

— Да, Наташа, но...

— Все, хватит, — поднялся Михаил, — суеты-то сколько. Тихон, мы мужчины?

— Да.

— Тогда командуй.

— «Все к столу!» — отдал приказ мальчуган.

Случайно или нет, но Елена и Арсений оказались за столом рядом. Пару раз он совершенно случайно касался ее, и всякий раз молодая женщина вздрагивала.

— Похоже, вы были правы, — смущенно улыбнулась она, — однополярные. Плюс на плюс.

— А вам идет смущение, — невпопад брякнул Покровский. И неожиданно засмутился сам.

Он было попросил Галину прочитать свои стихи, но она отказалась:

— Нет...

— Настроения? — подсказал Михаил.

— Настроение не причем. Мне нужно войти в определенную волну. Сегодня этого не получится.

И Галина рассказала о последних новостях в редакции. К ее удивлению, Покровский отнесся к этому не просто спокойно, а, как показалось, даже легкомысленно.

— А что, собственно произошло? По закону о печати, Абакумов ваш имеет право написать в ту же газету опровержение.

— Так все написано правильно. Нечем ему крыть.

— Вот и я об этом. В суд обращаться — себе дороже. А только там он может узнать фамилию написавшего. Не думаю, что ребята из областной газеты сдадут Орлова.

— Арсений, а откуда...

— Галина Аркадьевна, помилуйте, я столько лет в журналистике. То же еще? Князев?

— Уже смешно.

— Ремизов?

— Еще смешнее.

— Женщин ваших исключаем.

— Пожалуй, да. Хорошо, давайте начистоту до конца. Владимир Олегович признался мне вчера, что это он — автор статьи в «Рубеже». Выдавать на летучке себя Орлов не стал, но тогда же и ваша фамилия прозвучала, и вот, как настоящий российский интеллигент...

— Галина Аркадьевна, он боится за меня?

— Владимир Олегович не хочет, чтобы из-за него пострадали вы.

— Так я же не писал статью! Мне известно больше о прошлом Энска, нежели о его настоящем. Хотя... это же идея.

В глазах Покровского мелькнули озорные искорки.

— Что вы задумали, Арсений Васильевич? — Галина Аркадьевна растерялась окончательно. Ей казалось, после рассказа о случившемся в редакции, здесь начнется серьезный разговор, в результате которого будет найдено единственно верное решение. Завтра она сообщит о нем Владимиру, Владимиру Олеговичу, а тут...

— Предлагаю запутать эту шайку-лейку окончательно. Вторую статью в «Рубеж» напишу я. Назовем ее «Энские были 2», как в американских фильмах. Затем вы напишите третью часть былей. Надеюсь, материала хватит?

— Материала-то хватит, но вы не знаете, какие это страшные люди.

— Кто, Галина Аркадьевна?

— Абакумов и его окружение. Мэр в этом районе и бог, и царь...

— Вы еще скажите — герой.

— Конечно, не герой, — присоединился к разговору Михаил, — но правит он районом, как

зулусский царек. Что же касается, его мстительности — о ней у нас легенды ходят. Он ведь в последние годы советской власти физкультуру в школе преподавал. Меня успел поучить. Не любили его ребята, потому что он их и свою работу не любил. Уроки доведет и бегом на рынок...

— На рынок? Зачем? — удивился Покровский.

— Как зачем? Тогда же кооперативы появились. Многие в торговлю подались. Ну, так вот. А Григорий Алексеевич торговать-то торговал, но пошлину не платил. Его директор рынка и гонял. Знаете, что первым шагом сделал Абакумов, став главой района?

— Уволил директора рынка?

— Уволил... Сгнобил! Посадил мужика и где он сейчас никто не знает. А просто уволил наш бог и царь директора школы.

— Его-то за что?

— Ее, Александру Ивановну. Замечательная была женщина. За что уволил? Она же ему тоже взбучки за плохую работу давала. Такой человек — и стоял в директорском кабинете, и краснел, как мальчишка. Как простить такое?

— Эх, ребята, — сокрушенно покачал головой Покровский, — как вас запугал этот экс-физрук и барахольщик...

— Арсений Васильевич, — это была Ирина, молчавшая до сих пор, — нас не запугали, но... Вы завтра уедете...

— Понятно, Ирочка, а вам жить. Хорошо, предлагаю еще один вариант. Ничего писать не будем. Притихнем, как мыши, которые кота почувствовали, и будем ждать.

— Чего ждать?

— Ну, как же, Галина Аркадьевна. Грозный Абакумов в случае, если автор письма будет не найден, публично пообещал уволить Князева. Разве не вы недавно говорили, что этот тип представляет из себя, и как редактор, и как человек?

— Как-то некрасиво получается...

— Почему?

— Жалко его. Видели бы вы Владимира Николаевича на той летучке...

— Галина Аркадьевна, — Покровский встал из-за стола. — Вы совсем запутали меня. Хорошо, пусть тогда Владимир Орлов пойдет к Абакумову и во всем признается.

— Он же его после этого...

— Господи! Галина Аркадьевна, дорогая, вам всех жалко. Что же делать?

— Ничего.

Это сказала Наташа. Сказала тихо и в то же время очень весомо. Все посмотрели на нее.

- Ничего, — повторила она. — Это не ваше дело.
- Не мое? — переспросил девушку Покровский.
- Не ваше, и не Галины.
- А чье?
- Владимира Олеговича. Орлова.
- Послушай, Наташа, но если человек попал в беду...
- А с чего вы взяли, что он в беде? Тем более, это его поле.
- Поле?
- Да, поле. На котором он разбрасывал камни. Теперь пришло время их собирать.
- Вот оно как... А если я хочу ему помочь? Собирать камни.
- Это не ваше поле. Да и не просил же он вас об этом.
- А нужно, чтобы попросил?
- Обязательно. Сами не вмешивайтесь. На вашем собственном поле камней хватает.
- Послушайте, друзья, а ведь посмотрите, что на самом деле получается, — теперь пришел черед вставить Михаилу.
- Миш, что замолчал? — спросила его жена, — что на самом деле получается?
- Если Наташа права... Одним словом, друзья, вы все здесь недавно...
- Господи, опять замолчал!
- Ириша, ты же знаешь, не мастер я речи толкать. А тут как Наташа сказала... Ведь это же Орлов Абакумова породил. Что вы на меня так смотрите? Владимир Олегович у нас в авторитетах ходил...
- Что ты такое говоришь, Михаил?
- Да не в этом смысле, Галина Аркадьевна, не в уголовном. Тогда у нас жизнь общественная забурлили, а Орлов в фарватере шел. Создал клуб, как же он назывался... Короче, что-то с демократией связано. А когда первые выборы в совет прошли, оказалось, что у нас весь совет сплошь из демократов.
- Я пока не понимаю, причем здесь Володя? — спросила Галина Аркадьевна.
- Как причем? Абакумов сначала в клуб пришел, потом депутатом стал. Отец рассказывал, все Орлову говорили, кого ты в совет тащишь.
- То есть нынешний энский царь и бог во власти оказался благодаря Владимиру Олеговичу?
- Исключительно благодаря, Арсений Васильевич. В том клубе, а потом и в совете одна говорильня сплошная была, а районом надо было управлять. В стране сами знаете, что

творилось. Орлов предложил дать дорогу молодым. Его слушались. Со скрипом, но проголосовали за Абакумова. Сам Владимир Олегович, видимо, решил, что будет при ученике кем-то вроде серого кардинала. Только недооценил он своего сподвижника. Тот своей командой обзавелся, новый устав ему Тяпкин написал, по нему власть от совета к главе района переходила. Еще не поздно было, но Орлов опять пробил этот устав. Правда перевес был всего в один голос, но уломал депутатов. Говорил, что пришло время приемников и нельзя с них спрашивать, не давая полномочий. Вот, собственно, и все. А однажды утром Орлов проснулся и понял, что он, собственно, никто.

— А говорил, речи толкать не мастер.

— Ну, разве не так, Арсений Васильевич? Когда убрали директора школы Владимир Олегович, как порядочный человек, пошел требовать отмены решения, а ему сказали, мол, не лезьте не в свои дела, и указали на дверь. И вот сейчас...

Михаил не договорил. Елена наклонилась над дочерью:

— Наташенька, тебе плохо?

— Нет, только голова что-то сильно заболела. Устала, наверное.

— Ничего себе, — поднялся Покровский, — уже за полночь. Еще бы не устать.

— Кстати, а где Тихон? — всполошилась Ирина.

— Мать называется, про сына забыла.

— Да ты и заговорил всех.

— Все мы хороши, — заступился Арсений за Михаила. — Тихон в порядке, посмотрите в тот угол.

И действительно, в самом углу, на стареньком кресле, свернувшись калачиком, спал мальчуган. Все сразу стали говорить шепотом.

— Спасибо за вечер. Только... — Арсений запнулся.

— Что-то не так?

— Все так, просто я себя халявщиком почувствовал. Пришел на все готовенькое. Может, мне посуду помыть?

Елена засмеялась.

— Мы с Галиной и Иришкой быстро управимся. Не переживайте.

— Послушайте, Арсений Васильевич, а зачем вам на ночь глядя куда-то идти? — спросил Михаил, уже уносивший сына и остановившийся на пороге.

— Не куда-то, друг мой, в монастырь.

— У нас места хватит. Оставайтесь.

— И то правда, — поддержала мужа Ирина, — завтра выходной, спокойно встанем, попьем чаю.

— Слаб еси. Уговорили. Если и впрямь не обременю...

— Не обремените.

И Покровский пошел за Смирновыми.

* * *

Места, действительно, хватило. Покровскому постелили в маленькой комнатке, где у супругов стоял книжный шкаф. Сон не шел, и Арсений решил почитать. Взял первую попавшуюся книгу — и ахнул. Это был роман Булгакова. «Мастер и Маргарита». Вспомнился разговор с Еленой по дороге сюда. Покровский оделся и тихо, стараясь не потревожить хозяев, вышел на улицу.

— Не спится? — услышал он. Это была Елена. Она стояла возле куста бузины и курила.

— Вам, я вижу, тоже.

— Что делать? Типичная сова.

— Тогда я филин... Вы курите?

— А разве не видно?

И вдруг она опять рассмеялась.

— Не обижайтесь.

— Да я и не собирался...

— А мне казалось, что все творческие натуры народ ранимый и обидчивый.

Покровский пожал плечами.

— А я думаю, любого человека обидь, оскорби, унизь — ему будет больно. Не верю в буратин. Хотя, вы правы, среди нашего брата... Ладно, не будем об этом. Как Наташа?

— Уснула. На самом деле я уже почти бросила курить. В доме курить нельзя, на улице днем неудобно. Да и отец Георгий ругает меня за это. Поэтому позволяю себе самую малость, да и то, когда все уснут. Только вы меня не выдавайте Наташе. Обещаете?

— Будет ругать?

— Еще как! Тебе, говорит, батюшка запретил курить. А что делать, отвечаю, если иной раз ну страсть как хочется закурить.

— А что она отвечает?

— Перебори себя — вот что отвечает.

— Н-да, человек она...

— Что замолчали?

— Мне показалось, что Наташа как-то уж очень категорична.

— Но вот сегодня, по поводу Орлова, вы с ней согласны?

— Знаете, чем больше думаю о том разговоре, тем все более соглашаюсь. По крайней мере, что-то в этом есть. Елена Евгеньевна...

— Да? И давайте без Евгеньевны.

— Хорошо. Елена, когда мы шли сюда...

— Я поняла.

— Вы связываете... дар Наташи с ее болезнью?

Молодая женщина долго молчала. Молчал и Покровский. Затем она достала еще одну сигарету. Хотела прикурить, но Арсений взял у нее зажигалку.

— Спасибо. — И опять молчание.

Когда Покровский решил, что ему надо попроситься и идти спать, Елена заговорила.

— У нас, — она так и сказала: «у нас», — очень редкая болезнь. Называется пневмоторакс. Слышали о такой?

— Нет.

— Если совсем просто: в легкие попадает воздух и тогда... Тогда беда.

— Простите Елена. А разве легкие не для этого и созданы, чтобы в них попадал воздух?

Его собеседница грустно улыбнулась.

— Что ж, придется мне прочитать для вас небольшую лекцию. Я теперь в этом вопросе боо-ольшой специалист. Найдите мне какой-нибудь прутик. Вон там чуть светлее, отойдем туда.

Покровский нашел прутик и Елена стала рисовать на земле.

— Вот грудная клетка, вот сердце.

— А почему вы нарисовали его в середине? Оно же слева.

— На самом деле сердце находится ближе к центру. Здесь одно легкое, здесь другое... Между грудной клеткой и легкими есть замкнутая полость, называют ее плевральной. В ней воздуха нет, зато есть немного жидкости, чтобы обеспечить трение легких и грудной клетки.

— Своего рода смазка?

— Да. И вот если в эту полость попадает воздух, то легкое коллабируется...

— Что делает?

— Простите, говорю же — мне пора кандидатскую защищать. Коллабируется — это означает сжимается.

— Пока не понял.

— Как у вас в школе с физикой было?

— Если честно, не очень. А сейчас даже правило буравчика забыл.

— Оно и видно. Сжимается потому, что давит на легкое.

— Только для этого надо чем-то пробить грудную клетку.

— Правильно. Пневмоторакс может появиться в результате травмы. Но у нас другое. Слышали вы такое слово — буллы?

— Панские послания вроде буллой называли.

— Буллы — это такие пузырьки с воздухом, диаметром до сантиметра. По-научному — эмфиземоторные пузырьки. Вот у Наташи все легкие в таких пузырьках. Сильный кашель, резкое движение, удар — и пузырек лопается. А иной раз непонятно от чего — берет и лопается.

— И тогда происходит то самое сжатие.

— Да, ведь в полости оказывается воздух.

— И что, ничего нельзя сделать?

— Можно. Сделать операцию. Их как-то прижигают.

— Ну и?

— Что?

— Почему не делаете операцию?

— У Наташи слабое сердце. В маму. Мне никто не гарантирует, что она выдержит операцию. Да ее никто не торопится делать. А теперь ждем весны. Весной Наташе исполнится семнадцать. В Москве сразу подряд прошло два очень сильных приступа. После последнего сердце остановилось. Слава Богу, скорая приехала очень быстро... Никому не пожелаю пережить то, что я тогда пережила. Выть начала: «Господи! Верни мне ее». Прикурите еще.

— Что? А, пожалуйста.

— Ну вот. А она открывает глаза, смотрит на меня и улыбается. Потом взяла меня за руку и сказала всего три слова: «Леночка, Бог есть». И все. И замолчала на три дня. А потом... Прихожу как-то в ее комнату, а она с атласом сидит. «Нам надо в Энск ехать», говорит. Я ничего не понимаю. В какой Энск, зачем в Энск?

— Да, странно.

— Очень. Но самое главное, все получилось так быстро и легко, будто кто нам помогал. Одна проблема не решилась. С квартирой. Нужны деньги, но пускать чужих людей? Как-то боязно. Маму просить бросить все и ехать в чужой город, чтобы она там одна жила — неудобно. Да и дача у нее, как бросишь. И тут мне говорит Наташа: «Давай будем молиться Даниилу Московскому, благоверному князю». Почему ему, удивляюсь, но уже не спрашиваю, Наташа сказала — объяснять не будет. И что же вы думаете? Буквально через два дня звонок от мамы: внучка ее ближайшей подруги поступила в университет в Москве, родители люди

состоятельные, хотят снять ей квартиру.

— Даниилу Московскому, говорите? Надо запомнить.

— Не верите?

— Еще как верю.

— А почему улыбаетесь?

— Не знаю. Хорошо как-то на душе. Ведь и меня сюда словно кто-то позвал.

— Вы же говорили — матушка Евфалия.

— Елена.

— Да?

— Ну вы же понимаете меня?

Уже поздно, — сказала она после маленькой заминки, — надо идти спать. Мне кажется, этот день никогда не кончится.

— Так он вроде кончился уже. Сегодня у нас... Кстати, а какое у нас сегодня число? Честное слово, потерял счет времени.

— Вы счастливый. А я до 14 марта дни считаю.

— А что будет 14 марта?

— Наташе семнадцать лет.

— Простите, понял.

— Хотела вам сказать, если будете общаться с ней, — маленький совет.

— Приму с благодарностью.

— Она не любит эти манерные: простите, извините, с удовольствием...

— Елена.

— Да?

— А вы не слишком... того?

— В смысле?

— Ну, может, вам еще справочник составить?

— Какой справочник?

— В первой половине — то, что можно говорить Наташе, во второй — что нельзя.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да я уже сказал.

— Вы отрицаете, что у нее дар?

— Нет. А вы знаете, что однажды в рязанской глухомани я встретил Николая Угодника?

— Вы?

— Я.

— Шутите?

— Нисколько. Вот я вам поверил, а почему бы вам не поверить мне?

— Вот так взяли — и встретили?

— Дорогая моя...

— Я вам не дорогая...

— Поживем, увидим.

— Что?!

— А я вот вашему рассказу верю. Я вообще, прожив месяц с лишним в Энске, уже ничему не удивляюсь.

Покровский замолчал. А потом вдруг неожиданно тихо произнес:

— Не мешайте ей.

— Мешать ей? Я? Чем? Вы знаете, у меня нет слов.

— Вот и хорошо. Комплексы свои, вину свою — не грузите на нее. Дар, дарить, подарок — от одного корня. Это теперь ее, навсегда. Ей это дали.

— Слушайте, что вы хотите этим сказать?

— Всего лишь одно: оставайтесь матерью. Какой бы необыкновенной Наташа не была, но она...

— Ребенок, хотите сказать?

— Нет, ребенок так с нами сегодня не разговаривал бы. Юная девушка, которую поцеловал Бог. Ладно, пора идти, — произнес Покровский почти без паузы. — Пока.

— До свидания, — сухо ответила Елена.

Они пошли в разные стороны и вдруг, каждый перед своей дверью, остановились.

— Вы что-то спросили? — задала вопрос Елена.

— Я. Нет. То есть, да. Я немного резок был. Хотел сказать одно, а получилось... Простите...

— Прощу. С удовольствием. — Она улыбнулась. Нет, он этого не увидел в темноте, но почувствовал. И что-то внутри Покровского дрогнуло. Будто по ледяному панцирю, в который

давно было заковано его сердце, кто-то постучал. Ответа не последовало, но на панцире образовалась маленькая сеть трещин. — Тем более, что вы правы. Во многом. Но ведь меня можно понять...

— Конечно. Наташа для меня — все... Ладно. Будем прощаться.

— Мне тоже нравится это слово. Ладно. До завтра.

— До сегодня.

— Ах, забыл. Кстати, когда вы говорили мне, что поздно и пора идти спать, мне кажется...

— Продолжайте.

— Вы хотели спросить меня, как я устроился.

— Точно, хотела. Только не смотрите на меня так победоносно, я уже поняла, что вы — не рядовой человек. Вы же Николая Угодника видели.

— Злыдня.

— Кто, простите?

— Ладно, проехали. Так вы хотели меня спросить?

— Зануда. Хотела. И как вы, Арсений Васильевич, устроились?

— Отлично. И давайте без Васильевич.

— Как же мы теперь без вас? Шучу, шучу.

— Господи, я так долго подвожу вас к одной теме. Ладно...

— Ладно...

— Одним словом, попытался уснуть. Не получилось. Рядом книжный шкаф. Наугад протянул руку. И — знаете, какую книгу достал?

— «Приключения Буратино».

— Ха-ха. «Мастер и Маргарита».

— Ой!

— Что такое?

— Это моя книга, Арсений Васильевич. Арсений. Не выдавайте меня. Пожалуйста.

— Кому?

— Наташе. Однажды она увидела эту книгу, я взяла ее в Энск, поскольку это любимая книга моей юности, хотела всегда, чтобы дочь ее прочитала. Дня два читала, а потом сказала мне: «От нее надо избавиться. Это дьявольская книга». И больше ничего. Представляете мое состояние? Ну вот я и отнесла к Смирновым Булгакова. У Галины он уже есть.

* * *

Этой ночью он так и не уснул. Постаравшись ступать как можно тише, поднялся по лестнице, вошел в свою комнату. Когда разделся и лег, попытался уснуть, но не смог. Поднявшись, включил свет. Взял книгу, ту самую книгу, и открыл наугад. Это был двести семьдесят четвертая страница. Арсений стал читать с самого начала страницы:

«— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.

— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Садитесь гордая женщина! — Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели...»

Какая-то сила подняла Покровского с постели. В дорожной сумке, которую он всегда носил с собой, у него лежала Библия. Небольшая, в зеленом переплете книга, с которой он не расставался все эти последние месяцы. Небольшая, ибо напечатана она была на тоненькой папиросной бумаге. Взяв книгу, стал искать нужное место. Нашел очень быстро. Затем отложил книгу, оделся и подошел к иконе Спасителя, которая стояла на тумбочке, рядом с иконами Божьей Матери и Николая Угодника. Взял Библию, перекрестился, и стал читать: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Еще раз перекрестился, и вновь взял булгаковский роман: «Мы вас испытывали... никогда и ничего не просите!»

И Покровскому все стало ясно. Окончательно и бесповоротно. Но уснул Арсений под самое утро. И когда Михаил, постучавшись и не дождавшись ответа, вошел в комнату, он увидел спящего в одежде писателя. На тумбочке лежала маленькая книга в зеленом переплете, а на полу — роман Булгакова.

* * *

— А ты что, всегда одетым спишь?

Арсений открыл глаза. Перед ним стоял улыбающийся Тихон собственной персоной. Интересно, у этого мальчугана когда-нибудь бывает плохое настроение?

— Привет, Тишань. Сколько сейчас времени?

— Много. Все у Лены и Наташи собрались. Тебя ждут обедать. Покровский тут же вскочил с кровати.

— Обедать?! А почему меня не разбудили?

— Мама сказала: жалко будить. Лена тоже недавно встала.

Только сейчас Арсений обратил внимание на то, что малыш держит в руках лист бумаги.

— Что это у тебя?

— Нарисовал.

— Покажи, пожалуйста. Ух ты, какой огромный зверь.

— Это не зверь, дядя Арсений.

— А кто?

— Пограничная собака.

— Понял. А рядом, стало быть, пограничник?

— Да.

— Неплохо, Тихон, но я поклонник реалистической живописи.

— Не понял. Тебе понравилось или нет?

— В целом понравилось. Но вот скажи, почему у тебя собака больше пограничника?

— Она террориста съела.

— Вот оно что! А почему у нее пять ног?

— Для красоты.

— Тихон, ты гений. Пошли обедать.

Когда они уходили, Арсений, поколебавшись немного, вслед за Библией положил в дорожную сумку и книгу Булгакова.

— Ну, наконец-то, пришли! — приветствовал их первым Михаил, — а то я тут один...

— Как это один? — удивилась Галина.

— Галина Аркадьевна, вы все принимаете дословно. Мой муж хотел сказать, что он чувствовал себя одиноко в нашей женской компании.

— Ты не права, дорогая. Про «один» — говорил, про одинок — это уже твоя выдумка.

— Михаил, никогда не спорьте с женщиной, — Арсений пожал Смирнову руку, всем остальным поклонился, — потому что...

— Правильно, — перебила его Ирина, — потому что женщина всегда права. Сразу видно, что вы мудрый человек, Арсений Васильевич.

— ... потому что бесполезно.

— Арсений Васильевич, и впрямь так считаете? — ахнула Галина. — Но ведь это же мужской шовинизм!

— Галочка, кого ты слушаешь? — это вошла в комнату Елена. Она несла большую супницу. — Человека, который только и делает, что спорит с женщинами.

— Мне есть, что сказать вам, Елена Евгеньевна, но я промолчу...

— И правильно сделаете.

— Мы же в неравных условиях.

— Имеете в виду, что я у себя дома?

— Имею в виду, что у вас в руках половник.

Елена не успела ответить, ей на подмогу пришла Галина Аркадьевна:

— Арсений Васильевич, вы не знаете Леночку, она очень добрый и интеллигентный человек. Половник это не ее ору... Почему вы все смеетесь?

— Галочка, не обижайся, — Ира подошла к соседке и обняла ее, — мы же любя. Но что делать, ведь ты наивна, как ребенок.

— И это есть хорошо, — Покровский принял важный вид и поднял указательный палец вверх, — ибо сказано: будьте как дети.

— Как мы? — смог наконец-то подать голос Тихон.

— Как вы, Тихон. Кстати, друзья мои, вы видели красоту, которую написал этот будущий Хайдеггер и Пикассо в одном флаконе?

— Не буду я никаким хаем...

— Красоту мы видели, — потрепал Михаил сына по макушке, — всех ознакомил. А Хайдеггер, сынок, это философ был такой. Дядя Арсений хотел сказать, что ты у нас будешь философом.

— Не буду!

— А кем будешь?

Тихон задумался. Все уже сидели за столом и с интересом ждали ответа. Мальчик задумчиво смотрел на тарелку с супом.

— Что молчишь, сынок?

— Кем стану? Человеком... Специалистом... Президентом Путиным!

— Родители, скажите, а вы, надеюсь, записываете за будущим великим философом Тихоном Михайловичем Смирновым его перлы?

— А что такое перлы, дядя Арсений? — оторвался от супа Тихон Михайлович.

— Это жемчужины, друг мой. В данном случае словесные.

— Мы все собираемся, Арсений Васильевич, но руки не доходят, — ответила Ирина, — а с другой стороны у него, что не день, как очередной перл. На прошлой неделе в поликлинику с ним ходили. Прививку надо было делать. Ни в какую! Стоим с медсестрой, уговариваем. А она в маске. Ну, вроде бы уговорили. Он говорит медсестре: «Ладно, буду, только намордник сними».

— Это что, — притворно вздохнул Михаил, — помнишь, Ириша, что он про меня в саду сказал?

— Разве такое забудешь? — в ответ вздохнула она. — Прихожу за ним, а воспитательница говорит: мы сегодня с ребятами про профессии говорили. Спрашивали, кем их родители работают. Дошла очередь до вашего сына, он и отвечает: папа у нас тварь. Почему, спрашиваем. Потому что тварь — это человек, который что-то сотворил. Папа каждый день

садится за компьютер и творит, творит, творит. Потом спрашиваем, а кто у тебя мама? Помойка, говорит. Потому что все моет: и меня, и посуду, и пол.

Практически весь обед прошел под знаком Тихона. Тот сидел гордый и сиял, как начищенный пятак. И когда разговор за столом менял свое направление, мальчик методично возвращал его в нужное русло.

— Дядя Арсений, а все-таки, кто это — философы?

Покровский растерялся:

— Даже не знаю, как тебе ответить...

— Взаправду ответь.

— Взаправду. Понимаешь, друг мой, есть люди, которые работают руками, например, что-то делают, сеют хлеб. Другие работают ногами...

— Как это?

— Например, футболисты. Для них главное — ноги.

— А руки?

— Руками нельзя.

— Только вратарю можно?

— Точно. Ну, а философы работают только головой. Что так смотришь? В голове у них много мозгов, они ими весь день думают.

— О чем?

— Да обо всем. Например, что появилось раньше — курица или яйцо.

— А что раньше?

— Подумай. Ты же у нас будущий философ.

Мальчик не мгновение задумался, а потом постучал себя по голове:

— Череп от крепких мозгов звенит, чувствуете?

— А можно я любимый анекдот Володи Орлова расскажу? — спросила Галина у присутствующих.

— О чем речь, Галя! — ответила за всех Елена.

— Да вы что, Галина Аркадьевна? — удивился Покровский, — при Тихоне рассказывать про катящуюся голову?

— Какую голову? — Галина Аркадьевна удивилась еще больше.

— Что и требовалось доказать, — сказала Елена, — только дай поспорить. Рассказывай, Галя. Народ просит.

— Ну, если народ за, то я, как народ. Тем более, если не про голову.

— Рассказываю. Встретились как-то старые друзья, пропустили по сто, то, се...

— Что пропустили? — переспросил Тихон.

— Все, помолчи! — приказал сыну Михаил. — Бенефис кончился, дай взрослым поговорить.

Мальчик отодвинул от себя стакан с соком, встал и вышел из комнаты.

— Тихон, вернись!

— Лена, не обращай внимания. Сейчас успокоится. Он у нас отходчивый.

— Миша, все равно, резковато ты с ним...

— Согласен. Виноват.

— Дочка... — Лена посмотрела на Наташу.

— Все поняла, — поднялась та, — не переживайте, все нормально будет.

Когда ушла и Наташа, Ирина вдруг вспомнила, что к ней кто-то должен сейчас придти.

— Ну, вот, в кои веки хотела рассказать анекдот, — развела руками Галина.

— Все, сидим и слушаем! Стихи твои слушала, песни тоже, а анекдоты еще ни разу. Тем более, что это любимый анекдот Орлова.

— А я говорю, что про голову у него, — вновь отозвался Покровский. — Все, молчу, Елена Евгеньевна.

— Сначала начинаю. Встретились как-то старые друзья, пропустили по сто, то, се. Один другого спрашивает:

— А что ты поделываешь?

— Преподаю. Логику, диалектику, философию.

— Никогда не мог толком разобраться. Вот что такое — логика?

— Как бы это объяснить попроще... Разве что на примере. Скажем, идут по улице два человека: чистый и грязный. Который из них идет в баню?

— Ну... наверное, грязный?

— Молодец. Вот это и есть логика.

— Четко! А что такое диалектика?

— Как бы это объяснить попроще... Разве что на примере. Скажем, идут по улице два человека: чистый и грязный. Который из них идет в баню?

— Так ведь грязный же...

— Нет! Другой: он потому и чистый, что ходит в баню.

— Надо же. Ну, а что такое философия?

— Как бы это объяснить попроще... Разве что на примере. Скажем, идут по улице два человека: чистый и грязный. Который из них идет в баню?

— Ну... этот, то есть другой... А кто их знает!

— Вот тут начинается — и тут же заканчивается философия.

* * *

Покровский заглянул в комнату Наташи. Она сидела на своем любимом диванчике и читала книгу.

— А где Тихон?

— Уже ушел. Я ему почитала немного.

— Успокоился?

— Ой, быстро!

— А что читала?

— «Алису в стране чудес». Столько раз читала, а сейчас вот читаю, и оторваться не могу.

— А книги, Наташа, как люди. Одни, как друзья, как родные, мы без них жить не можем. Другие, как случайные прохожие, прошел мимо — и забыл. А о третьих вообще никогда не узнаем, они просто никогда не встретятся с нами. Не понимаю, как можно, например, читать с экрана компьютера. Книга, только книга! Пахнущая типографской краской, с закладочками... Стоит она на книжной полке и как бы говорит. Нет, не как бы, а говорит, на своем языке: дружище, открой меня, я соскучилась, давненько ты не заходил в меня. Кто ты? О, старина Стивенсон! Привет! Как там дела на острове сокровищ? И вам привет — Грин, Конан Дойль, Тургенев... А что это за маленькая книжка? «А зори здесь тихие»... Господи, это та самая книга, последняя страница которой испорчена: я читал и плакал над ней, потом плакала моя сестра, потом другие люди...

Арсений говорил, а Наталья слушала и смотрела на него сияющими глазами. Она была — вся внимания.

— А вот и ты, Александр Сергеевич. Впрочем, нет, вру...

— Почему врете?

— Пушкин у меня не на полке. Он всегда со мной.

— Это выражение такое образное, да?

— Ну, и выражение, конечно, но не только.

Арсений снял с плеча сумку, свою вечную и верную спутницу, и через мгновение извлек оттуда большую книгу.

— Позвольте представить. А. С. Пушкин. Сочинения.

— Ух ты! — вырвалось у Наташи. Перед Арсением сидела обычная девочка, подросток... Может не говорить? Нет, надо.

— Пушкин был гением. Но на моей полке его книга спокойно может стоять...

— Он же не стоит?

— Хорошо. Баратынский, Тютчев, Рубцов, я их считаю великими, а рядом с ними какой-нибудь Иванов... Нет, неудачный пример. Иванов — не какой-нибудь. Пусть будет какой-нибудь Покровский...

— Понятно, — улыбнулась Наташа, — но вы тоже не какой-нибудь.

— Спасибо, конечно, но я хочу сказать, на книжной полке никому не тесно.

— Но ведь некоторые книги стоят далеко, а некоторые рядом, чтобы всегда можно было взять.

— Правильно, но ведь также и с людьми. Без кого-то ты и дня прожить не сможешь, а кого-то, увы, и рад бы увидеть, да он далеко. Но, честно сказать, я постарался сделать так, чтобы книги на моей книжной полке не стояли очень уж далеко.

— И всем им хватает места?

— Им, конечно, тесновато приходится... Но, с другой стороны, книг через мои руки проходит много. Когда беру новую, определяю быстро — буду ее читать, или нет, нужна она мне или я отпущу ее.

— Как это — отпущу?

— Так ведь у каждой книги своя судьба. Опять-таки, как у людей: кому-то слава и почет, кому-то бесславие...

— Скажите, Арсений Васильевич, но ведь бывает так: когда-то тебе книга нравилась, а потом...

— Разочаровала?

— Разочаровала. Или даже уснула.

Покровский улыбнулся и вновь полез в свою сумку.

— Ты, случайно, не эту книгу имеешь в виду? — спросил он и достал роман Булгакова.

Глаза Наташи мгновенно потухли. Она нахмурилась.

— Значит, не избавилась...

— А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Устал стоять, можно я присяду рядом?

— Конечно, можно.

— Мне сказали, ты хотела пообщаться со мной по поводу того, что я в своей книге написал о Булгаковском романе.

- Очень хотела. Только вы, как я думаю, уже все поняли? — улыбнулась Наташа.
- Об этом чуть позже. Вот скажи, хороший мой человек, зачем ты так с Леной поступила?
- Как? Я ей сказала, что книга не от Бога... она против Бога, и что ее надо убрать.
- Значит, убрать? Сжечь, порвать?
- А почему нет? Это лучше, чем Смирновым отдавать, людей соблазнять...
- Слушай, Наташа, дашь мне несколько минут?
- Конечно! Мне с вами интересно общаться.
- Взаимно. Просто хочу обрисовать ситуацию так, как я ее вижу. Если захочешь, потом поспорим.
- Я вся внимание.
- Ты эту книгу прочитала?
- Конечно.
- И что-то поняла про нее? Отлично. Лена читала ее давно. Относительно давно, конечно, в пору юности. Культовая книга, согласись, и не для одного поколения. Написана она, кстати, просто блестяще. Но я сейчас о другом. Приходит время тебе читать «Мастера и Маргариту», и ты... тебе дается возможность увидеть в ней то, что не видели другие, увидеть подспудный смысл романа. Почему бы тебе не сесть рядом с Леной вечером, зажечь вот эту лампу... кстати, что-то уже темнеет, можно я ее включу?

Наташа кивнула.

- Продолжу... Сесть, и ты рассказала бы о том, что поняла. А что ты сделала? Протянула матери книгу и сказала: «На, выброси!» А ведь Господь дал каждому из нас свободу. Он не хочет видеть ни в Лене, ни в тебе, ни во мне, ни в ком-то другом машину, автомат, которая будет делать те действия, на которые он, автомат, запрограммирован. Право выбора — это великий дар, это акт доверия к человеку Бога... И если Господь так с нами поступает...
- А если я боюсь, что человек, которого люблю, поступит не правильно?
- Так я и предложил тебе: зажги для него лампу, а не навязывай ему своей воли... У меня была одна знакомая директор библиотеки. Женщина пришла к Богу, как сама говорила. Наступил великий пост. Она решила поститься, причем постилась неистово. Первую неделю — одна вода и хлеб. Но ей этого показалось мало. Она решила, сто все ее сотрудники, молодые, пожилые, верующие, неверующие, была даже одна татарка, будут поститься.
- Как это такое возможно?
- А вот так. Разумеется, утром и вечером директор не могла проверить своих сотрудников, а вот за обедом следила. И знаешь, что стали делать ее подчиненные женщины?
- Уходить с работы?
- Нет, зачем. Брали с собой бутерброды с колбасой и, пока не видела начальница, ели. Как ты

считаешь, какую пользу они получили от такого поста? И стали ли они ближе к Богу?

— Многие стали дальше.

— Думаю, ты права. Некоторые из них мне прямо об этом говорили. Их сердца ожесточились.

— Понимаю. Их принудили делать то, к чему они были не готовы...

— Теперь обратный пример. Один старец...

— Я перебую вас, Арсений Васильевич. Вот вы говорите, одна знакомая директор, один старец...

— Тебе нужны конкретные имена, фамилии?

— Не обижайтесь, а вдруг, ради воспитательных целей...

— Говори, говори...

— Преувеличили... немножко.

— То есть, приврал.

— Но ведь с вами такое бывает?

Покровский хотел возразить, но смотреть в такие глаза и говорить неправду, было просто невозможно. Арсений вздохнул:

— Грешен. Но сейчас другое дело. Старца звали архимандритом Ипполитом, привел меня к нему господь на первый взгляд совершенно случайно.

— Но кто верит в случайность...

— Тот не верит в Бога.

— Мне наш батюшка, отец Георгий о нем рассказывал. Он к старцу постоянно в Рыльск ездил.

— А я был всего один раз. Одна встреча. И она мне всю жизнь изменила. Так вот, я хотел сказать, что был просто поражен его смирением, кротостью... Он говорил про себя: «Вот кто-то проповедует, а я вообще ничего не могу сказать. Я не умею ничего». Старец не кривил душой, но ведь умел говорить, потому что Господь ему дал дар сердца других людей видеть, людей, которых он любил...

— Ты прости, что я это говорю тебе, Наташа, — после небольшого молчания продолжил Покровский, — не собирался я тебе лекцию читать, просто... просто...

— Бойтесь за меня? — тихо спросила девушка.

— Да. Ты получила дар, а он может раздавить... если... без любви. Косноязычие проклятое!

— Нет, я все прекрасно поняла. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто».

— Послушай, не плачь... Я же не хотел тебя обидеть.

— Ты правда считаешь, что я...

— Нет, любишь, — не ожидавший такой реакции, Покровский был настолько взволнован, что даже не заметил этого «ты», — кто бы сомневался! Просто чаще всего в жизни так и бывает, тем, кого мы любим больше, нашим близким, от нас и достается. Принимаем их любовь, как должное...

— Не то, Арсений. Ты ошибаешься. Почему-то люди думают, что у них столько времени... Вы здесь так любите спорить, столько много говорите... Вы только и делаете, что говорите, ... красиво говорите, а дела ваши...

Наташа говорила, Покровский слушал ее, не сводя глаз с этого удивительного лица. Теперь перед ним был не подросток, а человек, действительно — права Лена! — который был старше их всех и имел право так говорить.

— Не знаю, почему выбрала Энск, не знаю, почему ты приехал сюда. Наверное, и для меня это очень важно. Не наверное, а важно. Поверь, я услышала тебя. Но и ты должен услышать...

— Я тебя услышал, Наташенька...

— Не меня, Арсений. Себя самого. Свой внутренний голос, хорошо, назови его голосом совести. Ты вот говорил о близких...

Она вдруг замолчала. Смотрела на него и молчала. Покровский закрыл глаза и увидел отца. Совсем молодого. И себя, пятилетнего, с льяными волосами, сидящего с соседскими девчонками во дворе дома. Ведь уже тогда была в нем эта страсть — поразить, удивить... Он доказывает подружкам, что пластилин можно есть. Лепит из него морковку — и съедает. А вечером — температура, бред. «Арбуза хочу» — шепчет он, и папа бежит в десять часов вечера на улицу и — о чудо! — находит арбуз. Но маленький Арсений уже не хочет ничего — температура за сорок и он никого не узнает. А потом — все, конец. Сорок один, сорок два. Голова откидывается, и мама... Да, мама, как была в ночной рубашке мчится с сыном на руках в больницу, которая находилась совсем близко от дома. Врачи сказали, если бы на минуту позже... Впрочем, сколько раз ему так говорили...

А вот отцу к пятидесяти. И — первая седина. И опять из-за него, непутевого сына. Не поступил первый раз в университет — и рванул на юг, в археологическую экспедицию. Денег хватило только на билет до Анапы. Заработанное пошло на билет в обратную сторону, оплату еды, точнее, завтраков. Но он был счастлив. Раскапывал днем древнегреческий город, а вечером, вернее ночью, плавал в море по лунной дорожке в сопровождении дельфинов. Как же назывался тот рыбацкий поселок, в котором жили рыбаки — греки? Точно, Джемете. А как звали ту девушку, он уже не помнит... Дома Арсений появился только через месяц. Родители уже подали во всесоюзный розыск. Он просто побоялся им позвонить. Смалодушничал. Как потом малодушничал много-много раз. Боялся обидеть, а обижал еще больнее. Не хотел ранить, а рана оказывалась еще глубже... Отец именно тогда и поседел...

А потом другие лица. Их много. Девушки, мужчины, женщины. Он узнавал их, а они улыбаясь смотрели на него. С кем его сводила судьба, с кем пил, делил последний кусок хлеба, делил кров и даже постель. И кого забывал... Да, тут не только малодушие, здесь много чего другого. Но ведь исповедовал это, а потом опять по-новому. Скольких, оказывается, «приручил», а потом легко уходил в сторону. Но ведь не легко... не всегда легко... Не ври! А ведь права девочка, права во всем. А вот это кто? Боже, помоги мне вспомнить ее. Таня, точно, Таня! Москва, медицинская клиника и ты, исстрадавшийся и уже ни во что не верящий, решающийся

свести счеты с этим миром. И вдруг мимо проходит она. Случайно. Случайно? И — смотрит в твои глаза. И заходит к тебе в палату. А ведь даже фамилии не знаешь, неблагодарный... Почему вздрогнула Наташа? Она молчит, у меня закрыты глаза, но я чувствую, я вижу, как девушка вздрогнула. Значит, слово произнесено. Кто не благодарный — я?! Я. Точно — я... Перед родителями, близкими, друзьями, мужчинами и женщинами... Перед Богом? Нет, это не правда. Я же молюсь... Точнее, читаю правила... Не каждый день, конечно, бываю занят... В церковь хожу. Ну, ведь хожу же! Ну, не каждую неделю, но ведь не я один такой... Открыть, открыть глаза, сбросить наваждение... А в мозгу бьет, словно дятел — желна по плати дерева: не-бла-го-дар-ный. Какое странное слово, как же он это не замечал? Дар — не во благо? Почему? Почему?

Наташа опять вздрогнула. Маловер. Кто? Он?! Нет, ему легко доказать, что... Легко? Покровский открыл глаза. Девушка смотрела на него, как будто... Как будто? Она на самом деле все слышала, хотя Арсений не проронил ни слова.

— Маловерный?

Кивок головы, едва заметный, скорее — движение ресниц. Господи, а ведь Наташа права! Во всем — права. Как же там сказано? Если с горчичное зерно будет вера — и горы сможешь передвигать. А ты... утром встаешь, и думаешь, нет не так — беспокоишься, тревожишься... А получится ли то, а успеется ли сделать это... И как доживу до полочки, и сколько книг продам на встрече. И почему колет в боку? Какие горы! Какое зерно! Маловер, право слово, маловер.

— Эй, народ, не зная вас, подумала бы, что вы медитируете.

В дверях стояла Елена.

— Все хорошо, Леночка, — сказала Наташа.

— А почему глаза на мокром месте? Ой, да и у вас, Арсений, тоже.

— Разве?

— Леночка, нам нужно очень много сказать друг другу.

— Ну и как? Сказали?

Покровский и Наташа переглянулись.

— Кто будет отвечать? — улыбнулся Покровский девушке.

— Я. Чуть попозже мы сядем под лампой — и я все расскажу.

— А мне надо идти.

— Может, поужинаете с нами, Арсений?

— Нет, спасибо. Пора и честь знать. А то уже столоваться стал у вас. Да и дел, правда, много.

— Каких дел? Вечер на дворе. Завтра — воскресенье.

— Вот именно. Надо будет до завтра вымолить прощение у матушки Евфалии. Поросенок, это я про себя — на несколько дней исчез и даже не предупредил человека. Потом написать письмо родителям. Потом выплусь. В воскресенье хочу на службу в храм сходить, отец Леонид будет

служить. Ну, и дай Бог завтра напишу рассказ про Таню.

— Про какую Таню?

— А вот когда напишу, обязательно узнаете.

— Ловим на слове...

* * *

Нагоняй от матушки он получил знатный. Покровский не оправдывался, только повторял: «Виноват, исправлюсь, если не выгоните». Но монахиня, несколько раз взглянув в его глаза, словно осеклась.

— Я же говорила, живите сколько хотите... Арсений Васильевич, случилось что?

— Случилось, матушка... Только у вас своих забот хватает...

— А вы не переживайте. Другое дело, если говорить не хотите.

— А что говорить? Утром встал, одному юному созданию чуть ли не лекцию готовился прочитать. А в результате...

— А в результате?

— В свою душу вдруг заглянул.

— Вот оно как...

— На самое дно душеньки своей...

— И?

— Если совсем коротко: ужас.

— А может, просто вы впечатлительный такой. Завтра утром встанете, солнышко выглянет, все в другом свете покажется?

— Ну, вот, вы еще посмейтесь надо мной, матушка. Хотя!.. Наверное, заслужил. Ладно, пойду. Кое-что еще сделать надо.

— Подождите, Арсений Васильевич. Смеяться не собиралась. Кое-что хочу вам сказать. Но сначала спрошу. Вы тому юному созданию лекцию не передумали читать?

Покровский горько усмехнулся:

— Я теперь никому лекций читать не буду, а уж тем более тому созданию.

— Вы удивитесь, но мне хочется поздравить вас.

— Меня? Вы шутите, наверное.

— Ничуть. Там, где я жила был старенький доктор, чудный человек. Он с моим отцом дружил. Так он любил говорить: лечение начинается тогда, когда поставлен правильный диагноз. Вы его сами поставили себе. Теперь, как говорится, с Богом! Но не унывайте. Враг только этого и

ждет от вас.

Затем монахиня перекрестила Покровского и вышла из кельи. Впервые за несколько дней он остался один.

* * *

А через два дня был написан рассказ «Операция на сердце». Впрочем, сам Покровский никогда не будет считать «Операцию» просто рассказом. Скорее, своей благодарностью — Богу, врачам, родителям... И незнакомой девушке Тане.

* * *

Операция на сердце.

Ах, как мы самонадеянны в молодости! А ещё ленивы. Впрочем, зачем я употребляю множественное число? Не лучше ли все эти упрёки обратить к себе? Мог ли я предположить, что пройдёт время — и сотрутся из памяти имена, фамилии, зыбкими станут лица... Словно держал в руках ожерелье, беспечно играл им, пока камешки послушно скользили по нитке. Вдруг оборвалась нитка, рассыпались камни по траве — и нет больше ожерелья... Пытаюсь восстановить его, ищу бусинки на земле, что-то находится, но большинство моих драгоценных камешков бесследно кануло... Но я продолжаю искать, воскрешая в памяти дни, лица, имена... День первый. Московская толпа целеустремлённа, серьёзна и равнодушна. Но стоит вырвать из неё почти любого, и он с готовностью поможет тебе. Наверное, поэтому я так быстро нашёл Абрикосовский переулок, а в нём хирургическую клинику. Быстро шла и очередь к профессору-консультанту. Когда подошёл мой черёд войти в белую массивную дверь, я понял, отчего это так. Минимум слов, минимум жестов и совсем нет эмоций: "Ваши документы... снимки... разденьтесь... теперь на другой бок... можете одеваться". Видимо, так и должно быть: за мной сидела и ждала огромная очередь, люди приезжали сюда из самых дальних мест. Но всё равно, я был разочарован: думал увидеть добродушного говорливого старичка доктора, поговорить с ним по душам, рассказать, что по утрам я бегаю, играю в футбол и вообще физически чувствую себя прекрасно. Ждал слов: " Ну и перестраховщики эти ваши районные врачи"... А этот человек в белом халате что-то написал на моём направлении и произнёс всего три слова: " Операция необходима. Следующий". Сказал так просто и буднично, как говорят: " Закрой форточку, дует". Словно обухом по голове. Бормочу: " Простите, я бы хотел...". И на этот раз с долей лёгкого раздражения: " Я же сказал: идите. Я всё вам написал". И вновь улица. Куда-то спешащая толпа. И я, с ватными ногами, бредущий не знаю куда. Как сквозь сон доносится от: "Ты что, слепой?" до: "Молодой человек, вам плохо?" Плохо... Это был конец, конец жизни. В двадцать пять лет.

День третий. Оказалось, ещё не конец. Наступило, пусть серое, зимнее, но всё-таки утро. Затем другое. Произошло чудо: мне понадобился всего один день, чтобы пробить уйму бюрократических стен и попасть в клинику. Я знал, что люди ждут своей очереди много месяцев, а мне понадобился всего один день. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что без Божьей помощи, без добрых людей никакой крепости моего лба не хватило бы. Но тогда я уже почти счастливый шел с пакетом в руках за медсестрой по длинному больничному коридору. Да, это не наша районная больница. И в помине нет ядовито-зелёных стен, коек в коридоре, запахов, от которых с непривычки человеку дурманит голову. Блеск пола и пластиковых потолков, бесшумная вежливость персонала, комфорт в палатах... Но радостных лиц не видно. Хотя мои соседи по палате обрадовались новому постояльцу. Мальчик Серёжа из Костромы вообще оказался прекрасным гидом: " У нас здесь, на восьмом этаже, люди обследование проходят. Затем тех, кто на операцию согласен, переводят на десятый этаж — там и готовят к операции. Ну а на тринадцатом операционная"... У Серёжи очень редкая и очень серьёзная болезнь: у него поражены с рождения все сердечные клапаны, их ему будут менять на протезы. Но

столько в мальчишке живости и энергии, что начинаешь сомневаться в его хворях. Мечтает после операции играть с соседскими ребятами в футбол и хоккей. Целыми днями надувает шар: врач так заставляет его увеличивать объём лёгких, он у мальчика недостаточен. Серёжа с гордостью говорит: " Я раньше с двадцати раз этот шар надувал, а теперь с десяти. Но вообще-то надо с шести".

Да, все разговоры здесь — только вокруг здоровья. Целый день только и слышно: сердце, сердце, сердце. Очень быстро становится какой-то нереальной прежняя жизнь. Люди, для которых единственный шанс продлить жизнь — это сделать операцию, и которые всеми правдами и неправдами пытались помочь себе, целыми часами сидят у окон и всё глядят, глядят на огромную, до самого горизонта раскинувшуюся Москву. Я её плохо знаю, и москвич Саша с удовольствием показывает мне: " Вон там, видишь? — Это Плющиха. Фильм "Три тополя на Плющихе " видел небось"? Через два дня Саша умрёт. Ночью, во время сна, так и не дожив до операции.

День пятый. Удивительно, но дни в больнице идут быстро. Анализы, процедуры, исследования... Постепенно знакомлюсь с людьми. А с медсёстрами уже успел подружиться. Славные девушки. Особенно Лена и Ирэн. Подруги, они словно не знают, что такое плохое настроение. Такие люди в больнице на вес золота, больные их очень любят. За постом дежурной медсестры — несколько мягких диванов и телевизор. Для больных это своеобразный культурный центр. Обмениваются новостями, слухами — женщины и здесь остаются женщинами: они знают всё и обо всех. Странно, но москвичей мало, в основном приезжие, хоть географию изучай: от Кавказа до Дальнего Востока. Я понемногу наблюдаю за ними. И в самом деле, просто поразительно видеть на одном «квадратном метре» столько жизнелюбия, стойкости. Поверьте, это не высокие слова. О своих болезнях, страданиях говорят очень обыденно и просто. Павел Евгеньевич из Ярославля уже лет пятнадцать вынужден спать сидя. Стоит ему лечь, что-то происходит с сердцем, оно начинает останавливаться. Николай из Риги. Ему дома сделали операцию, но неудачно. Сказали, что жить осталось недолго, но оперировать не хотят: " Мы вас обследуем, а потом езжайте в Ригу. У вас там есть свой сердечный институт". Ходит он с большим трудом, после трёх-четырёх шагов долго передыхает, в руках всегда нитроглицерин. Мне он объясняет, что дело в том, что шансов на успешную операцию у него мало. А у врачей тоже статистика своя, им не нужны неудачные операции, когда человек на столе умирает. " Но я не уеду отсюда все равно. Лучше на столе умереть, чем так жить".

Но есть и другие люди. По коридору взад-вперёд ходит невысокий пожилой человек в спортивном костюме. На больного не похож. Оказывается, блатной, ежегодно ложится на месяц подлечиться. Подошёл ко мне: " Парень, беги отсюда. Здесь людей, как собак режут. Беги". Засранец. Сытая, холёная физиономия. Так и захотелось съездить по ней. Коля отзывает меня в сторону: «Не кипятись, хотя и гад он ещё тот. Разве можно на людей поклёп возводить. Врачи здесь мировые, не сомневайся». Я отвечаю, что не сомневаюсь, но нельзя же позволить у людей отнимать надежду. А именно надеждой живём здесь мы все.

День седьмой. Хорошо поговорил с лечащим врачом. Милая, какая-то вся уютная, домашняя женщина. Как же её звали? Надо же, забыл... Несколько лет проработала в Африке. Рассказывает о дочке-школьнице, о домашней собаке породы " ньюфаундленд", из шерсти которой она связала себе уже кофточку...

Серёжу перевели на десятый этаж. Недели через две-три ему сделают операцию. В больнице есть негласный обычай: не обмениваться адресами, даже если подружился с человеком. Я сначала думал, что это обычное суеверие, потом понял: это из чувства такта. Бывало ведь и так: приходит письмо, а отвечать некому...

День тринадцатый. Все обследования закончены. Сегодня — последний день 1982 года. В столовой Ирэн и медбрат Володя наряжают ёлку. Больные с удовольствием им помогают. Первый раз в жизни встречу Новый год вдали от родных. Утром пришло письмо от родителей и сестрёнки. Волнуются, ждут встречи. Господи, почему я раньше не ценил всё это — дом, семью. Оказывается, какое это счастье — просто идти по улице, встречаться с друзьями, стоять

под дождём...

Нам разрешили сегодня нарушить режим, тем, кто захочет, разумеется. Человек десять пришли в полночь в столовую. Каждый нёс, что у него было. Желали друг другу счастья — и поднимали стаканы с компотом, кефиром и соком. За моим столом сидит очень красивая, небольшого росточка женщина. Неля. На её щеках пунцовый румянец, похожий на крылья бабочки. Когда мы познакомились, я допустил бестактность: "Интересно, что с таким румянцем в больнице делать"? Но она не обиделась. После я узнал, что такой узор на щеках — признак очень слабого и больного сердца. Неля около года ждала, чтобы её положили в клинику. И то, что это ей удалось, считала началом новой, светлой полосы в её жизни. Через месяц Нели не станет, но я и по сей день помню ту новогоднюю ночь, стаканы с компотом. В воздухе словно разлилась какая-то удивительная атмосфера теплоты и нежности. Женщины, привыкшие ходить в халатах, конечно же, не могли одеть лучших своих нарядов, но принарядились, как могли. Включили телевизор. Но больше говорили. Мечтали о том, чем будут заниматься, когда сделают операцию, вспоминали родных, друзей.

— Ребята, поверьте, — произнёс Николай, — мы ещё выпьем шампанского. И твист станцуем. О, если бы вы знали, как я танцевал его в молодости! — Николай был очень артистичен. Он подошёл к Неле и хорошо поставленным голосом, учтиво склонившись, пригласил её на танец:

— Ну, а пока что медленный. Я сегодня готов на подвиги.

По телевизору пели песню про лаванду, Неля и Коля танцевали, и я видел, что сегодня все, собравшиеся в этой столовой, были счастливы. Стало шумно. Пришёл Володя. Судя по всему, он где-то встречал Новый год совсем не компотом.

— Ну, вы даёте, ребята! Меня так с работы уволят. Вы уж не шумите, пожалуйста. — Сказал, и умчался дальше праздновать...

Прошло с тех пор немало лет, но до сих пор, когда я слышу по радио "Лаванду", передо мной как наяву танцующие Неля и Коля. Жив ли он? Хочу верить, что жив. И благодарен ему за тот заряд оптимизма, что он давал каждому из нас.

День шестнадцатый. Новый год в больнице начался плохо. На операции, первой в году, умер мужчина. Я видел его всего пару раз. Он ходил с шахматной доской под мышкой и искал партнёров. Потом его перевели на десятый этаж. И вот случилось такое. Медсестра Лена сообщила подробности: врачи здесь не причём. Он умер до операции, но на операционном столе. От инфаркта. Страх разорвал его сердце. Неудачной стала и вторая операция. По горькой иронии, умерший — сосед шахматиста по палате. За обеденным столом я видел всегда их вместе. Он был полный, дышал, как паровоз. Ел обычно долго, и шахматист терпеливо ждал его, не уходя в палату. Лечащий врач на мои расспросы, ответил коротко: "Это же всё-таки сердце. Бывает, всё вроде бы пройдёт успешно, а сердце пустить так и не удаётся. А бывает такое безнадёжное сердце — и всё прекрасно заканчивается".

Хуже, что началась паника среди больных. Многие выписались. Печально, что в клинике существовал суровый закон: тот, кто отказывался от операции и выписывался, вторично сюда не принимался.

И вот когда я собирался дочитывать уже изрядно надоевшего Дрюона, — этот автор был в те годы очень популярен и книги его можно было приобрести за сданную макулатуру, — неожиданно в палату вошёл хирург Вадим Прелатов. Он присел на мою кровать и сказал: "У меня к вам серьёзный разговор. Давайте пройдем ко мне в кабинет".

Вообще-то для сердечников, ожидающих операцию, хирурги — боги. Каждый имеет своих поклонников, как какой-нибудь артист. Не знаю, как хирурги выбирали себе больных, но это быстро становилось известным. Когда я узнал, что в перспективе меня будет оперировать Прелатов, и спросил Николая, как к этому относиться, он ответил лаконично: "Самый лучший вариант".

Тогда Прелатову было под сорок. Впрочем, могу ошибаться. Тогда все люди старше меня казались солидными, как говорится, "в летах". А он и впрямь производил впечатление. Молчаливый, вид всегда суровый. Когда он стремительно шёл по коридору, больные показывали новеньким на него: "Это сам Прелатов". Конечно, среди хирургов клиники были люди и с большей известностью, лауреаты, но Прелатов, в отличие от пожилых "звёзд", достиг того возраста и такого уровня мастерства, когда больные, а это народ самый сведущий, говорили: "Пусть у академика В. больше наград, но к Прелатову попасть как-то надёжнее".

И вот я сижу в его кабинете. Молчание затягивается. Прелатов внимательно смотрит на меня, будто решая — говорить или нет.

— Видите ли, — наконец начал он. — У нас сейчас сложилась не очень нормальная ситуация. Надо бы людей поддержать. Две неудачные операции подряд для нас — ЧП. Одним словом, я хочу вас прооперировать.

— Когда? — только и смог спросить я.

— Завтра. У нас как раз операционный день. Не волнуйтесь. Даю вам слово, что всё будет хорошо. Сердце у вас компенсировано, я видел, как вы утром по лестницам бегали...

— Лёгкие увеличивал.

— Правильно. Есть, правда, одна сложность, чисто техническая. Мы на операцию забираем с десятого этажа, туда и возвращаем после реанимации, а мест сейчас там, мне сказали, нет. Но мы что-нибудь придумаем.

Странно, но на меня нашло какое-то удивительное спокойствие. Я обычно, перед тем как идти к зубному, дрожу как осиновый лист. А тут вдруг мелькнула мысль: "Наконец-то! Побыстрее отделаться — и дело с концом". Когда вечером Ирэн принесла мне целую кучу успокоительных таблеток, я отказался: «Зачем мне они»? Вообще-то я всегда был не прочь поиграть на публику, но в тот момент я действительно не рисовался. Хотелось только одного: чтобы быстрее прошло время. И я придумал себе занятие: взял справочник по какому-то художественному музею и до глубокой ночи переписывал имена художников и названия картин...

День семнадцатый. Утро. Я почти механически почистил зубы, умылся. Подошёл к окну. Январь, а снега ещё нет. Вернее, он растаял после новогодней ночи. Москва была в дымке. Плющи не видно. Зашла Ирэн: "Ты не готов ещё? Надо ехать". Прямо в палату ввезли каталку. Меня заставляют снять всю одежду. Натягиваю простыню до подбородка.

— Ирэн, да я сам дошёл бы до оперблока.

— Не положено. И вообще, молчи, и набирайся сил.

Меня везут по коридору. Из палат выходят люди. Впервые прямо отсюда увозят на операцию. Кто-то желает удачи, кто-то просто машет рукой. Ирэн пытается казаться строгой: "По палатам, нечего смотреть", но по глазам вижу, что переживает.

Наконец и операционная. Последнее чувство, которое помню — стыд. Снимают простыню, а вверху, на балконах, за стеклом десятки людей в белых халатах. Наверное, практиканты. Подносят маску. И — самая последняя мысль, перед тем, как глаза мои сомкнёт сон: "Проснусь ли?"

День девятнадцатый. Открываю глаза. Пелена. Какой-то гул вокруг. Несколько секунд удивительнейшее чувство, которое ни до, ни после я не переживал: не знаю, кто я. Будто моё "я" улетучилось куда-то. Затем постепенно пришло понимание того, кто я есть. Но возник второй вопрос: где я, что со мной? Пытаюсь спросить. Из горла доносится какой-то хрип. Опускаю глаза — откуда-то из груди торчит трубка, вторая во рту.

— Чего-чего? — уже явственнее слышу насмешливый голос, Те, кого я принял за ангелов, оказались бригадой врачей — реаниматоров. Старшая из них подошла ко мне:

— Очнулся, голубчик?

— ... мени ... колько? пытаюсь спросить?

— Ещё раз.

— Времени сколько?

— Много, голубчик. Третий день дрыхнешь.

— Третий?!

— Третий, третий. Мы тебя уже будить собирались. Храпел, как сурок.

Так значит я живой, и операция прошла благополучно? Радость дала силы голосу:

— Я... не храплю. Это трубки... ваши.

— Гляди, разговорился, — а потом, когда трубки во рту уже не было, подошла и погладила мою руку:

— Молодчина. Всё хорошо. А сейчас молчи и набирайся сил — они тебе ещё пригодятся.

День двадцать пятый. Я-то думал, что после операции всё останется позади. Наивный. Лишь несколько дней спустя до меня дошёл смысл слов врача — реаниматора: "Набирайся сил". Неделя в реанимации стала самой тяжёлой в моей жизни.

Огромная комната. День и ночь горит яркий свет. Постоянно работает какая-то машина, гудящая как трансформаторная будка. Грудь моя, с огромным багровым шрамом, сшита титановой проволокой. Никак не привыкну к клапану: раньше я не слышал своего сердца, теперь и днём и ночью стучит в груди, как маленький молоточек. Но гораздо хуже другое: после операции начались осложнения. Обычные, как говорят врачи: воспаление лёгких, увеличилась печень. Кашель постоянный, с утра и до утра. Ощущение такое, когда кашляю, что кто-то невидимый бьёт в грудь ножом. До крови кусаю губы, но кашель не подавить. Всё из-за той же располованной грудины спать можно только на спине. Пить разрешено не более стакана воды в день. Почти вся она уходит на запивку уймы таблеток. Кто-то посоветовал сосать лимон. Правда, помогает это плохо. Мне кажется уже, что я, прожив двадцать пять лет, так ничего и не знал. Не знал, что такое боль, что такое жажда, когда ждёшь следующего дня, чтобы сделать глоток воды. Не знал, что человек может резко измениться, даже внешне, в

течение всего нескольких дней. Меня пришла проведать Ирэн. Попросил у неё зеркало. На меня смотрел чужой человек: на исхудавшем лице одни глаза и огромная чёрная борода, особо чудно смотревшаяся на фоне светлых волос. Оказалось, что во время операции, которая продолжалась пять часов, в меня влили огромное количество донорской крови. Сильный наркоз дал скорый рост бороды, а чужая кровь — её цвет. Но тогда я не мог с юмором отнестись к этой ситуации. Больше того, буквально с каждым часом я ощущал, как меня оставляет желание жить. Если бы меня, как положено, на третий день после операции перевели в обычную палату, где рядом находились бы люди, куда пускали родных — может быть, я легче переносил бы все эти муки. А здесь... Боль и яркий свет, жажда и непрекращающийся гул машины... На двадцать пятый день моего пребывания в клинике я окончательно решил: лучший для меня выход — уйти из жизни.

Когда решение пришло, стало даже как-то легче. Мозг работал лихорадочно. На окнах решётки, видимо, не я один иду по этому пути. Выпить горсть таблеток разом? Здесь люди опытные и быстро работают, вмиг откачают. Да к тому же медсестру не хочется подводить. Отчаянье душило меня. Каждый новый приступ кашля только усиливал становившееся непреодолимым желание умереть.

Но Господь сжалился надо мной. Хотя в тот момент о Боге я вообще не думал. Мой ангел-хранитель явился в виде медсестры Тани. В тот день она дежурила на другом посту. На моё счастье, проходя по коридору, она заглянула в реанимационный блок, где я лежал. Девушка увидела мои глаза, и, наверное, всё поняла.

Я знал, что медсестру зовут Таня. Красивой и даже симпатичной назвать её было трудно, а в то время я выделял девушек только по этому признаку. А потому Таня меня не заинтересовала. Когда она присела на краешек кровати, я вдруг впервые увидел её глаза. Большие, тёплые, в них застыло то ли удивление, то ли радостный восторг: люди, как прекрасен мир, как прекрасны вы сами, неужели этого никто не замечает? Таня, неожиданно для меня, положила свою руку на мою и стала говорить, говорить. О том, что учится на вечернем отделении мединститута, что любит свою работу, и какие здесь девчонки замечательные, как они помогают друг другу. Однажды она допустила какую-то оплошность в работе, а старшая медсестра, хоть и строгая женщина, но оставила её упущение без наказания. Но больше всего Таня говорила о своей маме, какая она у неё замечательная, метеоролог, очень известный в Москве. У мамы друзья по всему Советскому Союзу, она по делам службы часто уезжает в командировки. Завтра Таня собирается ехать на аэродром, встречать маму. Ужас, как соскучилась по её блинчикам. Обязательно принесёт их мне.

Она говорила, а ледяной ком в груди словно таял. Так весной ручеек на пару с солнышком растапливают корку прибрежного льда. Я смотрел на Таню, на её лучистые глаза — и не узнавал её. Более красивой девушки я не встречал в жизни. И доброй. Лежу здесь никому не нужный, всеми забытый, а она говорит о своей маме, которую я никогда не увижу. Наверное, у неё и впрямь замечательная мама. А моя? Господи, неужели я такой эгоистичный дурак? Решил себя порешить и даже не подумал, что далеко-далеко, в маленьком домике не спит ночами, думая обо мне, моя мать. Но я, считающий себя забытым всеми страдальцем, так ни разу и не вспомнил о ней... А Таня всё продолжала и продолжала говорить.

Ледяной комочек в груди растаял окончательно. Мне уже дикой казалась сама мысль о добровольном уходе из жизни. И тогда, именно тогда до моего сознания дошло: операция на сердце, начатая неделю назад, сегодня, сейчас завершилась. Начал её хирург Прелатов, а закончила Таня. Холодное, эгоистичное и равнодушное сердце — больное сердце. Человек, думающий только о себе, такой же сердечник... Впрочем, это я сегодняшней могу именно так вспоминать те дни, а тогда... тогда я понимал только одно: Таня спасла меня.

И надо же такому случиться, буквально через тридцать минут после её ухода, с каталкой в реанимационную въехала сияющая Ирэн: "Тебя начальство разрешило вести к нам опять, на восьмой этаж. Сколько работаю, не припомню такого". И вот я на каталке, так и хочется написать на "щите", бородатый, худющий, но уже ничего и никого не стесняющийся, еду по знакомым коридорам. Это был триумф, скажу я вам.

День сороковой. Машина скорой помощи выехала из Москвы. Меня везут в санаторий Переделкино, восстановиться после операции. Машина останавливается прямо напротив центрального входа. Только что я ехал по грязным и мокрым московским улицам, в потоке машин. А здесь тишина. Сосны и снег. Неспешно и степенно гуляли люди. Белка сидит на ветке и смотрит на меня глазками-бусинками. Водитель скорой, молодой паренёк, помог мне выйти. Предлагает подождать носилок, но я уже могу пройти в день до ста шагов, а потому прошу его не беспокоиться: "Дойду потихоньку". А сам стою и не могу надышаться. То ли солнце такое яркое, то ли соринка в глаза попала, но отчего-то они повлажнели. Неожиданно для себя самого, опускаюсь на колени и целую землю. Паренёк растерянно стоит рядом, не зная, что делать. Остановились многочисленные гуляющие и удивлённо смотрят в мою сторону. Но мне всё равно. Я уже столько дней никого и ничего не стесняюсь. Не стесняюсь выражать чувства, не боюсь показаться смешным. Ну и пусть я смешной. Зато я знаю то, чего не знают ни парнишка — водитель, ни эти люди. Я знаю, какое это счастье — жить. Просто жить...

Вот я и нашёл один камешек из ожерелья, которое рассыпалось в моих руках. Найти бы другие.

* * *

А еще через день в монастырском дворе, где он помогал сестре Елизавете укутывать стебли роз, чтобы они не пострадали в морозы, ожидавшиеся со дня надень, Арсения окликнули.

— Елена? — Покровский и не собирался скрывать своего удивления.

— Она самая. Бог в помощь.

— Спасибо. Что-то случилось?

— Почему обязательно случилось?

— Тогда, значит соскучились?

Услышав последние слова, сестра Елизавета едва заметно улыбнулась.

— Вроде управились до темна, — сказала она, — у меня еще дела есть, а вы поговорите.

— Вот-вот, — Арсений вздохнул, — права Наташа: кто-то делает, а я все говорю, говорю...

— Опять самоедством занимаетесь?

— Вовсе нет. Правду легче увидеть, чем услышать. Кстати, что мы стоим? Хотите чаю?

— Вы какой-то стихийный. Соскучились... правду легче увидеть... хотите чаю. Давайте по порядку.

— Давайте.

— И ничего не соскучилась. Прочитала «Феклу». Очень понравилось. Знаю, что еще что-то

написали. Хотелось бы прочитать.

— Без проблем. Все будет.

Было видно, что Елена смущена. Впрочем, и Арсений чувствовал себя не в своей тарелке. Обычно в таких случаях он легко брал шутливый тон, но сейчас ему этого не хотелось.

— А еще мне просто любопытно. Не смотрите так. Да, любопытно! Они, видите ли, такие умные, что-то про «Мастера» поняли, а мне ничего рассказать не изволили.

— А разве...

— Молчит и улыбается. Правда, говорит, пусть книга будет в доме. Смилостивилась.

— Как же это жестоко... Нет, в самом деле, когда тебе любопытно, а все молчат.

— Смейтесь, смейтесь. Наташка сказала: если хочешь, чтобы все стало понятно, пусть придет Арсений и расскажет. А заодно и книгу принесет.

— Так вы меня приглашаете?

— Не я. Ну ... и я тоже ... приглашаю. Вот, теперь, кажется, все. Придете?

— Когда?

— Сегодня. Сейчас. Наташа ждет ...

По дороге к ермоловскому дому они практически не разговаривали. Разве что Елена почти у самого дома спросила:

— Арсений, а что вы имели в виду, когда сказали, что правду легче увидеть, чем услышать?

Он пожал плечами.

— Мысль изреченная есть ложь ...

— Любите Тютчева?

— Очень. Что имею в виду? Может, даже кого. Себя. Согласитесь, мы слышим много правильных слов. Мы сами их охотно говорим ... А живем чаще всего вопреки этим словам. Вопреки правде. И если порой что-то до нас доходит и, кажется, все, это теперь во мне навсегда, теперь-то я буду хорошим, поступать стану только по правде, по совести, а проходит время... Один пример. Чуть больше месяца прошло, когда еще там, — и Покровский показал рукой куда-то в сторону, — где я живу... где жил, меня словно бы озарило: «Я счастливый человек. Господь меня ведет по жизни, ведет так, что мне должно каждый день только и делать, что благодарить Его: «Господи! Слава, Тебе Боже, за все!» Но вот прошла неделя, вторая. Это как у моего знакомого алкоголика: как прихватит его сердце, он пугается и слово себе дает: все, больше ни-ни. Подлечится, боль проходит. С опаской, но выпивает рюмку, потом вторую. Ничего, жив. Сердце нормально бьется. И он забывает о своих обещаниях и сроках.

— Это есть ...

— Неблагодарность. Наташа все верно ... показала мне. Как ей удалось это — не понимаю.

— Уж не думаете ли вы, что она магией занимается.

— Упаси, боже! Я думаю, Наташа просто молилась, чтобы Господь показал мне меня.

Он замолчал, а потом добавил тихо: — Арсения Покровского показал Арсению Покровскому, разучившемуся слышать ...

* * *

Они сидели втроем, сидели тихо. Уютно светила лампа, без света которой Покровский уже скучал. Понимая, что происходит сейчас в душе Елены, старался говорить как можно мягче. Наташа полулежала на любимом месте, улыбаясь своей — это Арсений заметил — улыбкой совсем не подростка. Когда время от времени Покровский бросал взгляд на девушку, он чувствовал, что ему легче находить нужные слова.

— Какой он все-таки удивительный, наш язык. Живой. Вот именно живой, меняющийся. А еще мудрый. Какой ты человек, что у тебя на душе — все скажет язык. Ничего не скроет. А посмотрите как интересно: слово осталось, а смысл у него уже другой, не тот что прежде. Более того, мы и забыли тот, первоначальный смысл. Скажите, Елена, вы слышали такое выражение: «попасть впросак?»

— Конечно. По-моему его и объяснять не надо. Всем известно, что оно означает.

— Правильно. Только объясните мне, в какой такой «просак» мы время от времени попадаем?

— Не знаю. Сколько живу, столько знаю это выражение.

— А между тем просак — это стан, на котором в старину сучили веревки. Чуть зазевался — и запутался в веревках. Со стороны, наверное, забавно выглядело. Барахтается человек в веревках, пытается освободиться, а ничего не получается. Вот так и появилось: попасть впросак. Стан тот давно стал музейной редкостью, а впросак мы время от времени продолжаем попадать.

— Надо же ...

— Это только один пример. Их на самом деле множество. Но сейчас мы о другом ...

— Да, я надеюсь. Это, конечно, интересно, но ...

— Лена, не перебивай, пожалуйста, Арсения. Он тебя подготавливает.

— Извините.

— Спасибо, Наташа. Подготовка уже заканчивается. Еще одно слово. «Очаровательный». Сейчас, когда его произносят — словно высшую оценку дают. Очаровательная девушка, очаровательная музыка ... А наши предки чаровниками, очарователями называли тех, кто якшался с нечистой силой и хотел при ее помощи соблазнить, обмануть ближнего своего. «Мастер и Маргарита» — очаровательный роман. Столько людей им соблазнились, даже не понимая, что они читают.

— То есть, они глупые все.

— Нет, очарованные. В этом и сила чар.

— Колдовских? — улынулась Елена.

— Зачем же? Дьявольских. Есть истина, с которой даже спорить не стоит: дьявол есть обезьяна Бога ... Ну вот, все необходимые вступительные слова произнесены, давайте откроем эту книгу. И пусть даст нам Господь мудрости. Простите, если у меня будет много сумбура, но я не собираюсь читать вам лекцию. Просто, повторяю, будем листать страницы.

Вот, посмотрите, это говорит бродячий философ Иешуа Га-Ноцри на допросе у пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата: «Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец сириец»... Как же тогда быть со словами господина: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца»? Не перебивайте, Елена, пожалуйста, я скажу все, а потом посмотрим. Вы, наверное, хотели сказать, что Иешуа не Иисус Христос. В том-то и дело, что это именно Иисус Христос, наш Господь. Правда, такой, каким видит Спасителя Булгаков, и каким он хочет, чтобы мы видели Его. Помните, Воланд говорит Берлиозу и Ивану Бездомному: «Имейте в виду, что Иисус существовал». Я не могу не восхищаться талантом автора «Мастера». Мы очарованы героями романа, даже если посланцы ада, мы в плену иллюзии абсолютной достоверности. И мы даже не пытаемся внутренне возражать, когда на наших глазах творится миф. Не возражаем — и соблазняемся. Вот, потрясающая реплика Иешуа по поводу записей его ученика Левия Матвея: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной... Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в это пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты Бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал». Несколько строчек всего, и устами же своего героя автор отверг истинность Евангелия.

Если уж речь зашла об Левии Матвее. Примечательная подробность: он предстает перед Воландом в странном облике: мрачным оборванцем, выпачканным в глине. Но явился Левий из области света. И что — свет не преобразил его? Более того, рядом с сатаной евангелист откровенно жалок. Как можно такому верить, тем более, что ему призывает не верить сам Иешуа. А кому верить? Конечно же, сатане. А поскольку «рукописи не горят», дьявол быстро вернет сожженную рукопись к бытию. И мы будем читать дальше. Иешуа. Робок и слаб. Простодушен и непреклонен, наивен до глупости. Его называют мудрецом. Но мудрец ли он, ежели готов вести беседу с кем угодно, о чем угодно. Как тут не вспомнить предупреждение господина о том, что нельзя метать бисер перед свиньями.

Покровский остановился на мгновение, чтобы перевести дух.

— Но по-человечески Иешуа очень притягивает к себе. Именно своими человеческими слабостями. Тем, что даже когда говорит откровенную нелепость: «правду говорить легко и приятно», свою правду он не остерегается высказать даже тогда, когда она, его правда, становится угрозой для его собственной жизни. Его проповедь как бы поверх времени, поверх конкретных обстоятельств. Он возвещает свою правду вопреки здравому смыслу. Поэтому он высок. Как личность. По человеческим меркам. Но эта высота ...

— Человеческая, — впервые подала голос Наташа.

— Да, именно так, человеческая по природе. Он человек и только человек. В нем ничего нет от Сына Божия, Того Самого, кто явил нам высший образец смирения. Вот она, наша правда: Тот, Который одним взглядом мог бы уничтожить, разметать, рассеять всех утеснителей своих и палачей, принял от них поругание и мученическую смерть по доброй воле и в исполнение воли Отца Своего Небесного. Иешуа, который отца своего не знает и смирения в себе не несет, слаб. Он зависит от последнего римского солдата. Да, он жертвенно несет свою правду, но это

скорее романтический порыв человека, плохо представляющего свое будущее. Христос знал, что Его ждет, Иешуа простодушно просит Пилата: «А ты бы меня отпустил, игемон» — и верит, что это возможно. А ведь Понтий Пилат и впрямь был готов отпустить нищего проповедника, да помешала примитивная провокация Иуды из Кириафа. Это один из важнейших моментов романа, ибо Иешуа своей репликой совершает нечто иное, а отвергает Голгофу ...

Наташа держала в руках Библию, принадлежавшую Арсению. Когда тот сказал: «отвергает Голгофу», девушка протянула ему книгу:

— Возьми, прочти здесь. Для сравнения.

Покровский понимающе кивнул:

«И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою! Он же обернувшись, сказал: отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» Евангелие от Матфея, из главы шестнадцатой. Все так. Враг больше всего хотел бы отвержения Голгофы, ибо это было отвержением домостроительства спасения. Оттого, так резок в своем ответе Господь: отойди, сатана! Получается, Иешуа высказывает именно сатанинскую мысль. Вот и выходит, что перед нами «евангелие от сатаны». Но продолжим сравнивать. У Иешуа нет трезвой мудрости Христа. Перечитаем евангелистов: как немногословен перед лицом Своих судий господь. И как говорлив Га-Ноцри. Он, награждая всех званием доброго человека, договаривается до абсурда. Да, да: это ж надо, оказывается, центуриона Марка изуродовали именно «добрые люди». Получается, Иешуа находится как бы по другую сторону добра и зла. Что здесь общего с истинным милосердием? Господа нашего, простившего своим палачам их преступление, ибо Христос ясно видел все темные человеческие стороны и резко обличал пороки тех, с кем Ему доводилось общаться. Иешуа же не может никому и ничего прощать, ибо простить можно лишь вину, грех, а он не ведает о грехе. Делаем вывод: следовательно, он не может взять на себя и грех мира. Не может стать подлинным Искупителем. Иешуа Га-Ноцри не предназначен судьбой к совершению искупительной жертвы, не способен на нее. Вот перед вами центральная идея булгаковского повествования о бродячем философе-правдовозвестителе. И это отрицание того, что несет Новый завет. Между прочим, как проповедник Иешуа — безнадежно слаб...

— Послушайте, друзья, — не выдержала Елена, — я же не спорю. Вы убедительны.

— Не мы, сам Булгаков...

— Молодец, Наташа, как сказала!

— Вы как будто репетировали... Я хочу сказать про последние слова. Мне, наоборот, когда я читала, показалось, что именно как проповедник Иешуа был очень убедителен.

— Очарование, Елена Евгеньевна, все тоже очарование. А ежели вчитаться? Он же не в состоянии дать людям главного — веры, главной опоры в жизни. Самый верный его ученик не выдерживает первого же испытания и в отчаянье посылает проклятья Богу при виде казни Иешуа. Слабость Га-Ноцри в том, что не ведает он Истины. Сейчас ... найду. Вот:

«— Что такое Истина?» — скептически вопрошает Пилат. Христос здесь безмолвствовал. Все уже было сказано, все возвещено. И что было говорить тому, кто стоял перед Истиной — и не видел ничего в духовной слепоте своей».

А вот многословный ответ Иешуа:

«— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно

помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе даже трудно глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет».

— Каково? Раз уж заговорил — мы ждем ответа на величайший вопрос, какой только человек может задать Богу. А все свелось к сеансу психотерапии. Сейчас этого мудреца-проповедника назвали бы экстрасенсом. Истина же оказалась сведенной к незамысловатому факту, что у кого-то в данный момент болит голова.

Впрочем, не Иешуа посвящен роман, и даже не Мастеру с Маргаритой, а сатане. Воланд — вот кто главный персонаж всего произведения. И, заметим, самый обаятельный персонаж, выступающий к тому же гарантом справедливости, творцом добра, праведным судьей для людей. Он активно вмешивается во все события и всегда действует во благо — от наставительных увещеваний вороватой Аннушки до спасения рукописи Мастера. И в то же самое время...

— Почему вы замолчали?

— Боюсь, что утомил вас, Елена.

— Совсем нет. Мне очень интересно.

Арсений улыбнулся.

— Все равно, пора закругляться, а то я до утра не закончу. В заключении же скажу о том, на что люди, читающие роман, почти никогда не обращали внимания. Кто-то же сказал, что дьявол есть обезьяна Бога. С этой стороны посмотрим на сюжет Булгаковской книги. Между событиями в Ершалаиме и Москве — неразрывное единство. Их просто нельзя разделить, московские главы невозможно понять без ершалаимских. События в Москве разворачиваются на Страстной седмице, точнее в Великую Среду. На календаре 1 мая 1929 года. Это день не только солидарности трудящихся, но согласно средневековым верованиям именно в этот день бесовская сила устраивает свой шабаш. В Великую Среду Иешуа предстает перед Пилатом. В храмах в этот день читается евангельский текст о женщине, разбившей алавастровый сосуд с миром, чтобы возлить его на голову Христа. Аннушка, разбивши бутылку, разливает масло на рельсы, в результате чего оказывается отрезанной голова Берлиоза. Имя Анны означает — благодать, у Булгакова же к этому добавляется прозвище «Чума». Согласитесь, сочетание явно пародийное и кощунственное. Похороны Берлиоза, вынос его тела, лишённого украденной головы! — происходит в пятницу в три часа пополудни, когда на богослужении совершается вынос Плащаницы, символизирующей тело Христово. «Великий бал» сатаны дается в ночь с пятницы на субботу, когда «Бог умер», когда его как бы нет, что попускает дьявольской силе особую власть. А теперь зададим главный вопрос: с какой целью Воланд посещает Москву? Чтобы дать свой очередной бал? Но ведь не просто же потанцевать задумал сатана? А дело в том, что и «великий бал» и вся подготовка к нему — это не что иное, как черная месса, сатанинская анти-литургия. Уже в первой сцене — на Патриарших прудах — начинается своего рода черная проскомидия. Гибель Берлиоза включается в магический круг сатанинской мистерии: его отрезанная голова, украденная затем из гроба, превращается в «потир», из которого в завершение бала «причащаются» преобразовавшийся Воланд и Маргарита. Под крики «Аллилуйя!» беснуется на балу прислуга Воланда. Как мы знаем, на Литургии в храме читается Евангелие. Для черной мессы надобен иной текст. Роман, созданный Мастером, становится ни чем иным как евангелием от сатаны, очень искусно введенным в структуру

произведения об анти-литургии. Вот для чего была спасена рукопись Мастера, вот зачем оболган и искажен образ Спасителя... Мастер исполнил предназначенное ему сатаной.

Неожиданно Арсений замолчал. Он смотрел на Наташу с таким видом, будто только что сделал открытие. Девочка кивнула:

— Правильно.

— Ты хочешь сказать, что знала об этом?

— Да, поэтому и попросила Лену уничтожить книгу.

— Послушайте, великие мыслители, может не будете делать вид, что меня здесь нет?

— Елена, сейчас все объясню. Просто я и сам поражен...

— Арсений...

— Простите, я хотел сказать, что сам недавно увидел в романе то, о чем сейчас вещал вам. А точку, последнюю, поставить не мог.

— Какую точку?

— Если хотите — последний кирпичик в стенке. Наташа, — обратился Арсений уже к девочке, — ты мне помогла?

— Самую малость, — улыбнулась та в ответ.

— Но как?

— Молилась.

— И все?

— Почему — «и все»? Это самое главное. Но ты закончи, пожалуйста. Для Лены.

— Конечно, конечно. Понимаете, ведь если мы признаем, что Булгаков исповедовал «евангелие от Воланда», тогда необходимо будет признать: весь роман оказывается судом над Иисусом канонических Евангелий, совершаемых совместно Мастером и сатанинским воинством. Ершалаим совместили с Москвой, которая некогда была «третьим Римом», а стала второй Голгофой. А это уже хула. Хула для духа. А это не прощается... Послушайте, а может мы все-таки сделаем то, что предлагала Наташа?

— Вы о чем, Арсений? — не поняла Елена.

— О книге. Уберем ее из нашей жизни.

— Сожжем?

— Легко.

— А кто-то помнится выговаривал Наташе...

— Да, это был я.

— Теперь вы думаете по-другому?

— Не надо иронизировать, Елена.

— Я совсем не иронизирую. Просто это отдает...

— Говорите, говорите. Про фашистов еще вспомните, которые книги жгли.

— Что вы за люди? — резко поднялась со своего места Наташа, — как только оказываетесь вместе, всегда спорите. Лена, с тем, что Арсений говорил о романе, ты согласна?

— Согласна. Говорил он убедительно.

— Ты хочешь держать ее у нас дома? Я бы не хотела. Другим отдавать...

— Наташенька, я понимаю, все понимаю, но жечь книгу...

— Лена, — Покровский старался говорить, как можно мягче, — получается, что никому из нас эта книга не нужна. Отдать ее кому-то, будет означать соучастие в соблазне других людей. Сжигание станет скорее символическим актом, важным для нас самих. Мы сожжем не просто книгу, а евангелие от сатаны.

— Ну, хорошо, а как вы это представляете?

Арсений и Наташа переглянулись.

— Костер?

— У нас в садике... Заодно и мусор сожжем.

— Тихона попросим подсобить...

Елена рассмеялась.

— Посмотрите на них! Поджигатели... Вам бы в средневековой Испании жить.

— Елена Евгеньевна, между прочим, есть один древний арабский трактат по медицине...

— Что, его надо тоже сжечь?

— Да мы больше ни одной книги в жизни не сожжем. Правда, Наталья?

— Правда, Арсений.

— Считаете, что таким как вы оба — можно верить?

— Конечно, считаем. Правда, Наталья?

— Правда, Арсений.

— О чем же я хотел сказать? Вот перебили вы меня, Елена Евгеньевна.

— Вы говорили о каком-то арабском трактате, Арсений.

— Спасибо, Наталья.

— Послушайте, последний раз предупреждаю: будьте серьезнее.

— А зачем? Помните, что говорил наш знакомый барон?

— У меня нет знакомых баронов.

— Один есть — Мюнхгаузен. Так он говорил...

— Знаю. Все глупости на земле свершаются с умным видом.

— Правильно.

— Вы решили сделать глупость с глупым видом?

— Хорошо сказано, Елена Евгеньевна.

— Спасибо, Арсений.

— Послушайте, последний раз спрашиваю, — это была уже Наташа, — с минуты на минуту к нам придет стихийное бедствие по имени Тихон, а потому надеюсь получить ответ: что было написано в арабском трактате?

— Понял. Отвечаю. В арабском трактате было сказано: пять действий рождают чудо — смотри на воду, на огонь, на зеленый цвет, любуйся красивым лицом и пей мед. Что вы так на меня смотрите, барышни? Мы будем — все заметьте! — приобщаться к чуду.

— То есть?

— Будем есть мед, он, надеюсь, у вас есть, смотреть на огонь, смотреть друг на друга...

Елена рассмеялась:

— Арсений, вы от скромности не умрете...

— Я знаю. Моя любимая поговорка: скромность украшает, но зачем мужчине украшения?..

— Понятно. Вы будете смотреть на мое лицо?

— Нет, на Наташино, а вы на мое.

— Спасибо, Арсений.

— Пожалуйста, Наташа.

— Не, ну вы даете. Скажите, а мне разговор про книгу Булгакова не привиделся?

— Отнюдь, Елена Евгеньевна. Более того, это была последняя гастроль артиста.

— В каком смысле?

— Утром я пообещал матушке, что больше не буду читать лекций. Но для вас решил сделать исключение. Оцените?

— Уже оценила. Только у вас нестыковка.

— То есть?

— Огонь имеется, красивые лица... по крайней мере, два имеются. Мед — найдем. А вот с зеленым цветом и водой — проблема.

— Не вижу проблемы. У Смирновых я видел мощную такую ванночку — видимо, совсем юного Тихона в ней купали. Мы с Михаилом быстренько ее заполним и поставим возле костра...

— Надо же... А кто с зеленым цветом поможет?

— Вы.

— Я?

— У вас очень красивые зеленые глаза. Мы будем время от времени в них заглядывать. Правда, Наталья?

— Правда, Арсений.

— Это комплимент?

— Отнюдь, — пожал плечами Покровский, — констатация факта.

— Понятно. А как мне быть?

— В смысле?

— Где мне найти зеленый цвет?

— Этого мы не учли, Арсений. Чудо будет не полным, — констатировала Наташа.

— Чудо будет. Мы так легко не сдаемся. Елена Евгеньевна будет смотреть на меня...

— Ну, это понятно, — хмыкнула Лена, — я буду есть ложками мед, смотреть на ваше лицо...

— Время от времени переводя взгляд с него на ванну с водой и костер...

— Понимаю. А зеленый цвет?

Покровский встал и прошелся по комнате.

— Вот, что нам нужно! — и с этими словами он снял с полки книгу. — Какой чудесный зеленый цвет. Что это у нас? Николай Рубцов. Чудесно — мой любимый поэт. Я буду держать книгу перед собой, Елена Евгеньевна. Кстати, обожаю открывать поэтические книги наугад. Давайте, попробуем?

— Зачем? Вы суеверны?

— Нет. Но я люблю знаки.

Покровский открыл книгу. Потом удивленно поднял брови.

— Что же вы молчите?

— Да как-то не скромно... Вот, прочтите сами, — и Арсений протянул книгу Елене. Та стала

читать:

Брал человек
Холодный мертвый камень,
По искре высекал
Из камня пламень.
Твоя судьба не менее сурова —
Вот так же высекать
Огонь из слова.
Но труд ума,
Бессонницей больного, —
Всего лишь дань
За радость неземную:
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!

— Интересно. А можно я тоже попробую?

— Конечно же.

Елена открыла небольшой зеленый томик. Арсений увидел, как женщина побледнела.

— Глупости все это. — И она захлопнула книгу.

* * *

Галина Аркадьевна не любила время праздника. На границе осени и зимы одиночество и какая-то странная душевная тоска становились все нестерпимее. А когда это происходит с тобой в чужом, практически незнакомом городе... Нет, она была благодарна Ларочке и своим соседям, не обделена вниманием и даже заботой, — Галина Аркадьевна чувствовала доброе отношение к себе этих людей и была очень признательна им за это, но... Наступал вечер и подступала тоска. Наверное, если бы рядом был кто-то на чье плечо... Ах, уж это крепкое мужское плечо! Всю жизнь она мечтала о нем, и порой казалось: вот оно, сбылось! Галина Аркадьевна грустно усмехнулась: скоро на пенсию выходить, а как была она той наивной девчонкой с огромными доверчивыми глазами, так и осталась. Била ее жизнь, била, но все без толку...

А потом, благо был повод — день рождения дочери, она впервые, в полном одиночестве, достала купленную четвертинку водки и ... и тоска отступила. Пусть на какое-то время, но отступила. Потом, утром, Галина Аркадьевна дала себе зарок больше не повторять эксперимент, однако наступил следующий вечер, повода вроде бы не было, но только что ушел от нее чудесный и очаровательный Тихон, обезлюдили и без того тихие энские улицы, и она, быстро одевшись, пошла в магазин...

... Галина Аркадьевна подошла к дому, так и не ставшему родным. Привычным движением, на автомате, открыла калитку, достала из сумочки ключи, но отпереть дверь в квартиру не успела. Она услышала голоса. Кто-то говорил тихо, но в воздухе стояла такая тишина, что Галина Аркадьевна слышала почти каждое слово, доносившееся из садика Ермоловых. Женщина замерла, прислушиваясь. Она быстро поняла, что разговаривают Елена и Арсений. Голос Елены:

— ... и я очень беспокоюсь за нее.

Голос Арсения:

— Признаюсь, удивлен. Никогда не замечал за Галиной Аркадьевной подобного.

— Так и я не замечала. Почти не замечала. Но народ говорит...

Галина Аркадьевна вышла из темноты. У догоравшего костра сидели Елена, Наташа и Арсений. Мать и дочь сидели обнявшись, укрытые большим пледом. У Наташи были закрыты глаза, и непонятно было, бодрствует она или спит. Арсений сидел напротив, вороша палкой догоравшие угли.

— Так что говорит народ, ребята?

Наташа открыла глаза и тихо ответила:

— Не обращай на них внимания, Галя, эти двое тихо и беззлобно сплетничают про тебя.

— Тихо и беззлобно?

— Ну, может, не совсем тихо, как оказывается...

— А ты знаешь, солнышко, что местный народ говорит про этих двух супчиков?

— Про нас уже говорят? — улыбнулась Елена.

Галина Аркадьевна не ответила.

— Мне можно составить вам компанию? — спросила она.

— Да, конечно, — поднялся Арсений, — садитесь на мое место, а я сяду на место Тихона.

— Хорошая у вас компашка подобралась.

— А вы присоединяйтесь. Раз уж про нас говорят...

— Пусть говорят, Арсений Васильевич. В годы моей юности фильм такой был.

— Помню. Там еще певец испанский играл...

— Рафаэль.

— Точно, Галина Аркадьевна. Простите нас, мы не сплетничали...

— Я знаю, Арсений Васильевич, знаю, Леночка. Впрочем, дыма без огня не бывает. Что так смотрите? Я про себя. Другое дело, что все эти разговоры — пустой треп. Что еще делать в маленьком городишке, как не перемывать косточки ближнему своему. И даже не ближнему, а просто знакомому. Или совсем не знакомому.

— Не обижайте Энск, Галина, так было везде и всегда.

— Вы правы, Леночка, вы опять правы... Ладно, забудем. А знаете, я так давно не сидела возле костра. Неужто, греетесь?

— Ну, отвечайте человеку, Арсений Васильевич.

— У меня всегда длинно получается, Елена Евгеньевна, пусть лучше Наташа.

Девочка не заставила себя уговаривать:

— Просто мы должны были здесь собраться, вот и все.

— Должны? Вы?

— Мы. И мы собрались.

— Хочешь сказать, зачем-то это было нужно?

— Так я же это уже сказала.

— Между прочим, Галина Аркадьевна, — подал голос Покровский, — помнится, кто-то мне обещал свои стихи почитать...

— Что, вот именно здесь? А впрочем, почему нет. Может, действительно... это и нужно ... сегодня. Только вот с чего начать?

— Тетя Галя, начни с моего любимого. Пожалуйста.

— Колокольчики?

— Да.

Выгорели брови,
Посветлели косы,
И на пестрой юбке
Маки отцвели.
Хорошо идти мне
Так, простоволосой,
К дальней деревеньке
Тающей в пыли.
В реченьке Мологе
Омываю ноги
И с мосточка долго
На мальков смотрю.
Тропочки-тропинки,
Пыльные дороги
Приведут под вечер
В тихую зарю.
Что же деревенька
На заре подарит?
Чем же будет вечер
Этот знаменит?
...Зазвонит подойник
... Зазвонит комарик.
Может, колокольчик
Даже зазвонит.

— Вот такие стихи я раньше писала...

— Галя, а теперь мое любимое... прочти, пожалуйста. Там еще есть строчка: «Вкусная была у нас вода».

Галина Аркадьевна удивленно посмотрела на Елену:

— Это — твои любимые?

Молодая женщина неожиданно засмушалась:

— У меня все твои стихи — любимые. Правда. Но хотелось, чтобы ты сейчас прочитала эти.

— Хорошо, солнышко.

Скрипнула шальная половица —
Раньше не скрипела никогда.
Он вошел и попросил напиток.
Вкусная была у нас вода.

Поднесла ему я полный ковшик
Из ведра, прикрытого в углу.
Шуганула с лавки сытых кошек,
Пригласила к нашему столу.

Опорожнил ковшик. Глянул с лаской.
«Хороша, хозяйюшка, вода».
И чего я залилася краской?
Раньше не краснела никогда.

Я сказала: «Оставайтесь, право.
Вон какая темень на дворе.
Постелю вам в комнате направо,
Встанете пораньше на заре».

Но в ответ прохожий белокурый:
«Нет, пойду. Темно — да не беда...»
И чего я разревелась, дура?
Раньше не ревела никогда.

— А теперь для меня что-нибудь персонально, — попросил Покровский Галину Аркадьевну.

— Надо же, — улыбнулась она, — будто у меня творческий вечер. Давненько этого не было.

— А чтобы у костра в саду — такого, наверное, никогда?

— Никогда, Наташенька. Прочту— ка я вам, Арсений Васильевич, вот это:

Потом, быть может, я расскаюсь.
Потом. Быть может. А пока —
Наш красный рейсовый «Икарус»,
Лети до города Торжка!

Там колокольни белоствольны,
Там тень резная у крыльца.

Течет несуетно и вольно
Река по имени Тверца.

И о ночлеге мы попросим
В избе исправной мужика,
И нам на память вышьет осень
Золотошвейка из Торжка.

Торжок! Да что тут торговаться?!
Любую цену мы дадим
За то, чтоб снова было двадцать.
Хоть ночь одну. Хоть день один.

За стены белые Успенья,
За комнатушку в три шажка,
За шорох листьев на ступенях,
За праздник города Торжка...

— Надо же... А ведь у меня в жизни была похожая поездка...

— Не скромничайте, Арсений Васильевич, у вас много было поездок.

— Не надо ехидничать, Елена Евгеньевна, я конкретно о Торжке... Галина Аркадьевна, еще хочу.

— В Торжок?

— В Торжок я хочу всегда, Елена Евгеньевна. Сейчас я хочу слушать стихи.

Но Галина Аркадьевна молчала, затем тихо произнесла:

— Вот подумалось вдруг: не станет меня, но останется дочка. И стихи. У меня их много, очень много. Только...

— Только что, Галя?

— Не знаю, как это сказать, Наташенька... Я без стихов не могла жить...

— Их будут читать, вот увидишь, — перебила Галину Аркадьевну девочка.

— Спасибо, — грустно улынулась та.

— Мы все так думаем, — Елена погладила Галину Аркадьевну по руке. А еще они будут нужны людям. Очень нужны. Только, пожалуйста, не говори о себе в прошедшем времени. Договорились?

— Хорошо, не буду. Давайте — вот это:

Лежу на лугу
Средь каких-то цветов златоглавых.
Щавелевый стебель
Сжимает забыто рука.
Касаются неба
Тончайшие длинные травы,

Кудлатому облаку
Нежно щекочут бока.
И божья коровка
На лоб мой легко приземлится.
И спустится с неба
По стебельку муравей.
Как будто бы там,
В голубой и высокой столице,
Им отдан приказ
Попроведать сегодня людей.

А эти цветы —
Поплавками им по небу плавать.
В том недостижимом
И недостоверном краю.
Но с неба стекают
Тончайшие длинные травы
И нежно щекочут
Пригретую щеку мою.

Внезапно — впрочем, наверное, совсем не внезапно, — просто они все забыли о времени — погас последний огонек в костре, улетела в небо последняя искра. Арсений скорее почувствовал, чем увидел, как вздрогнула Наташа. На чердаке дома скрипнула дверца. Потом, много позже, и Лена и Покровский будут вспоминать те мгновения, когда погас последний огонек костра, когда откуда-то издали донеслось тоскливое «гав-гав-гау-у» неизвестного Энского Полкана и в наступившей темноте они услышали стук — это было падение о землю первой снежинки. Это так и было, они услышали — падение снежинки. Арсению на какое-то мгновение показалось, что он видит свечение над головой Галины Аркадьевны, которое, словно августовские падающие звезды, пронзали падающие снежинки — вторая, пятая, сотая. А Елена этот свет увидела в глазах Наташи, влюблено и прощально смотревших на Галину Аркадьевну, которая вдруг подняла лицо к небу и, словно разговаривая с кем-то, начала читать:

Ночная жизнь сверчка и светлячка.
Ночная жизнь летучей мыши.
Сомнамбулы, шагающей по крыше.
Душистого ночного табака.

Невнятный шум. И яркий аромат.
Какая-то огромная работа,
И тайный смысл ходьбы до поворота.
От поворота, и опять назад.

Тревожное мерцанье, шелест крыл,
Зовущий запах, белая рубаха.
... Зачем они пред тьмой не знают страха?
И кто окно чердачное открыл?

И тот смертельно узенький карниз.
И лунный луч. И сомкнутые веки.
Есть неземное что-то в человеке,
Что не дает ему сорваться вниз.

Морзяночка нездешняя сверчка.
И светлячка полночные сигналы.

Кому они? Какой планете малой?
Ночная жизнь... Во тьме скрипит устало
Раскрытое окошко чердака.

* * *

— Да, ночная жизнь, — нарушил молчание Покровский, — в последнее время чувствую, что превращаюсь в филина. Или сыча — веду исключительно ночной образ существования.

— Тогда кем мне назвать себя? — спросила Елена. — Совой?

— Ну, почему сразу совой? Есть множество птиц, ведущих исключительно ночной образ жизни.

— Вы — эльфы, ребята, наши энские эльфы, — Галина Аркадьевна поднялась, — впрочем с завтрашнего дня я тоже к вам присоединюсь, если примите в свои эльфийские ряды.

— Что ты хочешь этим сказать, Галина? — спросила Елена.

— Как я поняла, вы существа ночные, значит, для вас сейчас все только начинается. Приглашаю ко мне.

— Зачем? — Ермолова не могла скрыть удивления.

— Во-первых, сегодня у меня состоялся литературный вечер, первый за несколько лет, да еще в такой романтической обстановке, а во-вторых...

— Да, Галя, что, во-вторых?

— Как-то не хочется о грустном, Леночка... Вот Арсений Васильевич и Наташа все поняли. Ведь так?

Ни Покровский, ни девочка не проронили ни звука.

— Вот, молчание знак согласия...

— Значит, я одна такая бестолковая?

— Лена, — тихо проговорила Наташа, — Галя хочет сказать, что ей завтра не надо спешить на работу...

— Вы все-таки вмешались, Галина Аркадьевна...

— Да, Арсений Васильевич, я, как вы выразились, вмешалась. Сегодня утром истек ультиматум Абакумова. Я пошла к Князеву и сказала... сказала... Что вы так смотрите на меня? Какой снег! Первый... Между прочим, я стала замерзать. Пойдемте ко мне, а, ребята? Так не хочется сегодня быть одной...

Сердце Елены пронзила острая, как лезвие, жалость. Галина стояла перед ними маленькая, хрупкая, снежинки падали на ее лицо и тут же таяли, смешиваясь со слезами.

— Пойдемте, — уверенно, словно отрезал, произнес Покровский, и Елена поняла, что он чувствует тоже, что и она.

— Хорошо, только Наташу уложу...

— Ой, спасибо! — совсем по-детски обрадовалась Галина Аркадьевна, — Немножко посидим, у меня есть все...

— Лена, я пойду с вами...

— Наташа, это не обсуждается. Уже поздно.

— Я не маленькая, Лена.

— Дело не в этом. Ты устала, а режим соблюдать нужно.

— Говорю же тебе, я пойду с вами. Ну, пожалуйста!

— Зачем это тебе, Наташа?

— Не понимаешь?

— Нет.

— Мне не хочется это говорить.

— Можно это скажу я? — обратился к девочке Арсений. Та кивнула. — Елена Евгеньевна, ваша дочь считает, что сейчас она очень нужна Галине Аркадьевне.

— Надо же, — начала было закипать Ермолова. — оба такие понятливые, сочувствующие, одна я такая...

— Ты не одна, мама. Мы все вместе. Как эльфы из сказки...

* * *

Когда Галина Аркадьевна поставила на стол бутылку водки, Покровский и Ермолова переглянулись. Впервые за все время их знакомства Арсений почувствовал, что может разговаривать с этой женщиной глазами. «Сегодня мы не будем отказываться?» — спросил он Елену.

«Не будем» — ответила она.

— Мы понемножечку, — словно извинялась Галина Аркадьевна, — правда, понемножечку...

Наташа полулежала на диване. И Покровский, и Елена, не сговариваясь, посмотрели на нее. В ответ Наташа улыбнулась и ответила глазами: «Молодцы. Все правильно».

А потом они сидели и разговаривали. Впрочем, в основном говорила Галина Аркадьевна. Покровский и Ермолова слушали, почти не притрагиваясь к незамысловатой закуске.

— Понимаете, ребята, я же выросла в другое время. Дружба, взаимопомощь — для меня были не просто слова. «Сам погибай, а товарища выручай» — мой папа всегда любил это повторять. Вот вы осуждаете меня...

— Мы не осуждаем, Галя.

— Спасибо, Леночка... ребята... Да, не осуждаете, точнее, не судите, но и не понимаете. Сегодня утром истекал абакумовский ультиматум. На Орлова смотреть было страшно, его Князев каждый день к себе вызывал, угрожал, ругался, требовал от Владимира Олеговича явки

с повинной к Абакумову...

— Но Владимир Олегович стойко держался, как андерсеновский оловянный солдатик, — усмехнулся Покровский.

— Вы зря иронизируете, Арсений Васильевич. Если бы Орлов был один — он давно все рассказал бы. Он не трус. Но у него жена... молодая жена, которая ждет ребенка. Владимир Олегович думает о них. Если его выгонят с работы, кто его в нашем Энске и куда возьмет? С волчьим билетом — то...

— Бог не дал бы пропасть.

— Не знаю, Арсений Васильевич, не знаю, но для начала в Него верить надо.

— Ваша правда, Галина Аркадьевна, только я слышал, что у Князева, как это у нас говорят? — дочь в подоле принесла, жена болеет часто...

— Ну, да... Все правильно. Вот я и пошла к редактору и сказала, что статью написала я.

— А он? — спросил Покровский.

— Кто? Редактор? Обрадовался. Позвонил Абакумову. А вскоре мне уже выдали расчет.

— С Князевым все понятно. Как к этому отнеслись ваши коллеги?

— Как отнеслись к тому, что я призналась?

— Вы не признались, Галина Аркадьевна, вы оговорили себя. Как отнеслись к тому, что вас выгнали с работы, выгнали подло и незаконно.

— Зря вы так, Арсений Васильевич. Во-первых, законно...

— То есть?

— Я написала заявление об уходе с работы по собственному желанию. Ведь все равно бы жизни не дали...

— Сволочи! — Покровский встал, налил себе полную рюмку водки и выпил, не закусывая. Елена с удивлением смотрела на него, такого Покровского она еще не видела.

— Сволочи! — повторил он. — опять повторяюсь? Не понимаю. Ну не понимаю! Откуда в нас такое? Был клопиком, комариком, махоньким! — хлопнешь — никто не заметит. Но вот насосался кровушки, набрался силушки и все — теперь он царь и бог. Вы посмотрите, ведь не просто надо отомстить, надо растоптать, уничтожить, но одновременно, чтобы все по закону было, по собственному желанию... Ну и где этот гребаный закон? Там где сильный, там где кровососы?

— Арсений Васильевич, милый, да не переживайте вы так. Ничего же не изменилось. Это было мое решение и ...

— Галина Аркадьевна, все понимаю — и не понимаю одновременно. Кстати, «а товарища выручай», говорите. Повторю, и как же «товарищи» отреагировали, особенно один меня интересуется?

— А вы знаете, очень хорошо. Лариса Ивановна пошла к Князеву, просила не звонить Абакумову. Потом они, девчонки наши, вообще такое придумали... Забастовку объявить, представляете?

— Какие девчонки?

— Лариса Ивановна, Людмила Михеевна, все, одним словом.

— Что, и дочь Тяпкина?

— Так она это и предложила.

— Надо же! Ну и что дальше?

— Я их отговорила. Не хочу, чтобы из-за меня...

— Недоговариваете, ох, недоговариваете, Галина Аркадьевна.

— Ну, почему же, Арсений Васильевич, я действительно отказалась...

— Не сомневаюсь, что так и было...

— Арсений, Леночка, почему вы опять так на меня смотрите? Хорошо, хорошо, вы правы. Я понимала, что Орлов...

— Откажется бастовать? Ты не хотела окончательно...

— Да, не захотела. Он и без того морально чувствует себя ужасно...

Они замолчали.

— Ребята, что мрачные такие? Не пьете, не едите... Так не пойдет... Помните, в песне одной поется: «А не спеши ты нас хоронить».

— Конечно, помним, — ответила за всех Елена. Потом она повернулась к Покровскому:

— Арсений Васильевич, но ведь мы должны помочь Галочке? — Было не совсем понятно, спрашивает она или говорит утвердительно. — Помнится вы хотели письмо про энские безобразия в газету написать. Ту самую...

— «Энские безобразия» — хорошее название для статьи, — казалось, что Покровский успокоился, однако столь обычная на его лице улыбка так и не появилась. — Я понял вас, но статьи не будет.

— Почему? Неужто боитесь? Или для статьи фактов мало. Кстати, я бы и начала с этого позорного факта — расправы с Галиной.

— Все проще, — вздохнул Арсений, — писать больше некуда.

— Неужели газету закрыли? Говорили же, что те ребята, журналисты, никого не боятся.

— Что вы заладили, Елена Евгеньевна — боятся, не боятся. Простите...

— Прощаю. Так в чем же дело?

— Формально газета продолжает существовать. А фактически... Ее выпускали на деньги одного бизнесмена, а он теперь их не дает. Помещение, где размещалась редакция, тоже было его. Он попросил освободить. Причина проста: этого бизнесмена вызвали куда надо и все объяснили — толково и понятно.

— А куда надо — это куда?

— К губернатору. Ну, может быть, не к самому губернатору, но так ведь и в Энске у Абакумова есть Тяпкин... Одним словом, бизнесмен все понял и взял под козырек. Не дурак же он, на самом деле, с властью отношения портить.

— Неужели это все из-за одной статьи про Энск?

— Нет, конечно. Они опубликовали письмо одного священника из какого-то маленького городка. Этого священника отец Леонид хорошо знает, он-то мне историю и поведал. Отец Андрей, тот кто письмо написал, очень много с детьми из трудных семей занимается, с наркотиками они борются, детские летние лагеря организуют. На все деньги нужны, вот они и создали фонд. Даже какой-то грант областной выиграли. Половину денег им перечислили, а половину обещали потом. Под эти обещания деньги отец Андрей занял у кого-то, чтобы достроить что-то, подробностей не знаю. Только, одним словом, в конце концов, кинули его.

— В каком смысле? — спросила Галина Аркадьевна.

— В прямом. Денег он так и не получил. Сверху ему намекнули, мол, радуйся и тому, что дали. Можно только догадываться, куда оставшиеся деньги делись, но молчать отец Андрей не захотел и обратился с открытым письмом к властям. Вот после этого газета тихо и незаметно прекратила свое существование. Грустно, конечно, но сейчас меня больше волнует Галина Аркадьевна.

— Я вас волную? Это приятно слышать.

— Галя, не переводи все в шутку. Пожалуйста. Я согласна с Арсением Васильевичем. До пенсии тебе еще...

— Еще работать и работать, Леночка.

— Куда ты теперь пойдешь?

— Разве что в уборщицы, и то вряд ли возьмут.

— А можно сказать мне? — Это была Наташа. — Предлагаю сейчас ничего не решать.

— Почему, дочка?

— Все равно ничего не решите. А утро вечера мудренее.

— Это понятно, Наташенька, только сейчас мы все вместе собрались, а помнишь, как Тихон любит говорить? «Двое-трое не как один».

— Нет, ребята, не уходите, пожалуйста, — взмолилась Галина Аркадьевна.

— Так я и не предлагаю уходить. Ты же сама говорила, что это был твой первый литературный вечер за много лет. Вот об этом говорите, стихи почитайте, а решать не надо.

— Но только представь, дочка, Галя утром проснется, а вокруг четыре стены.

Наташа только плечами пожала:

— А нас, что, рядом нет?

— Так ей работать надо.

— Ты же не работаешь?

— Нашла с чем сравнивать! У нас другая ситуация...

— Та же самая. Просто мы с тобой знаем, что Бог никогда никого не оставлял. А Галина сомневается, есть ли Бог вообще.

Галина Аркадьевна подняла на девочку свои темные глаза и грустно сказала:

— Ты права, солнышко. Иногда очень сильно сомневаюсь...

Неожиданно Покровский улыбнулся, впервые за весь вечер.

— Дорогая Галина Аркадьевна, хочу вам сказать, что не вы первая, не вы последняя. Вам имя Фома ничего не говорит? Помните, апостол такой был? Пока сам, говорил, не убедюсь... не убежусь — не поверю. Но ведь убедился же. Убедитесь и вы, вот увидите.

* * *

Вот так и получилось, что только эти несколько людей видели, как в Энск пришла зима...

16.05.2008 г.

Это все, что Виктор успел написать в своем новом романе. 19 мая 2008 года его не стало. Последние два дня он не мог работать, говорил, что сюжетная линия должна поменяться, настраивался на новый рубеж. Но, Господь забрал его, не дав возможности дописать книгу. Не знаю, почему так случилось, такова была воля Господа. Знаю только, что все герои нового романа — люди, которых Виктор встречал на своем жизненном пути в последние несколько лет. Они достойны того, чтобы о них узнали читатели.

Хочется надеяться, что книга выйдет. Каждый сам додумает судьбы героев: что станет с Арсением и Еленой, выживет ли Наташа, как сложится дальнейшая судьба Галины Аркадьевны. Хотя о ней нужно сказать отдельно.

На одной из встреч с читателями в Твери Виктору подарили сборник стихов местной поэтессы Галины Безруковой. Рассказали о ее судьбе. К сожалению, Галина рано ушла из жизни, попала в автокатастрофу. Виктор был потрясен талантом Галины, очень сожалел о том, что с творчеством ее мало кто знаком. Не меняя традиций написания своих книг, он наполняет их стихами, в данном случае это стихи Галины Безруковой. Какую судьбу готовил Виктор Галине Аркадьевне — мы уже никогда не узнаем, я думаю, что ему очень хотелось таким образом продлить ее творческую жизнь.

Анна Лихачева.